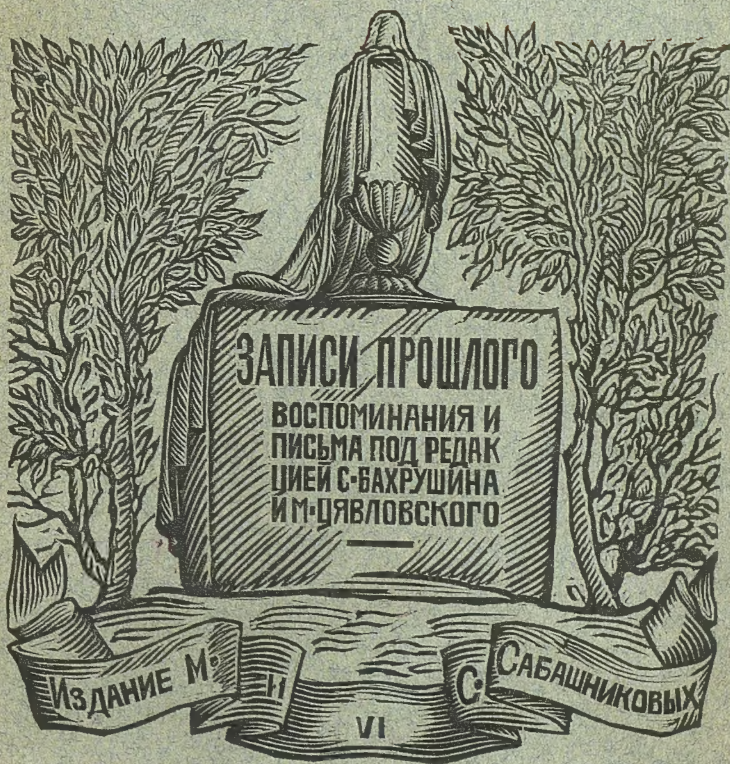
Экз. комиссии
14.X.1985
Егоров

ДЕКАБРИСТЫ НА ПОСЕЛЕНИИ

ИЗ АРХИВА ЯКУШКИНЫХ



А К

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

★

ВОЕННАЯ
ТИПОГРАФИЯ
Гл. Упр. Р.-К. К. А.
Пл. Урицкого, 10.
Ленинградский
Гублит № 3562.
Тираж 2.100—8.
Заказ № 114.

ДЕКАБРИСТЫ НА ПОСЕЛЕНИИ

ИЗ АРХИВА
ЯКУШКИНЫХ

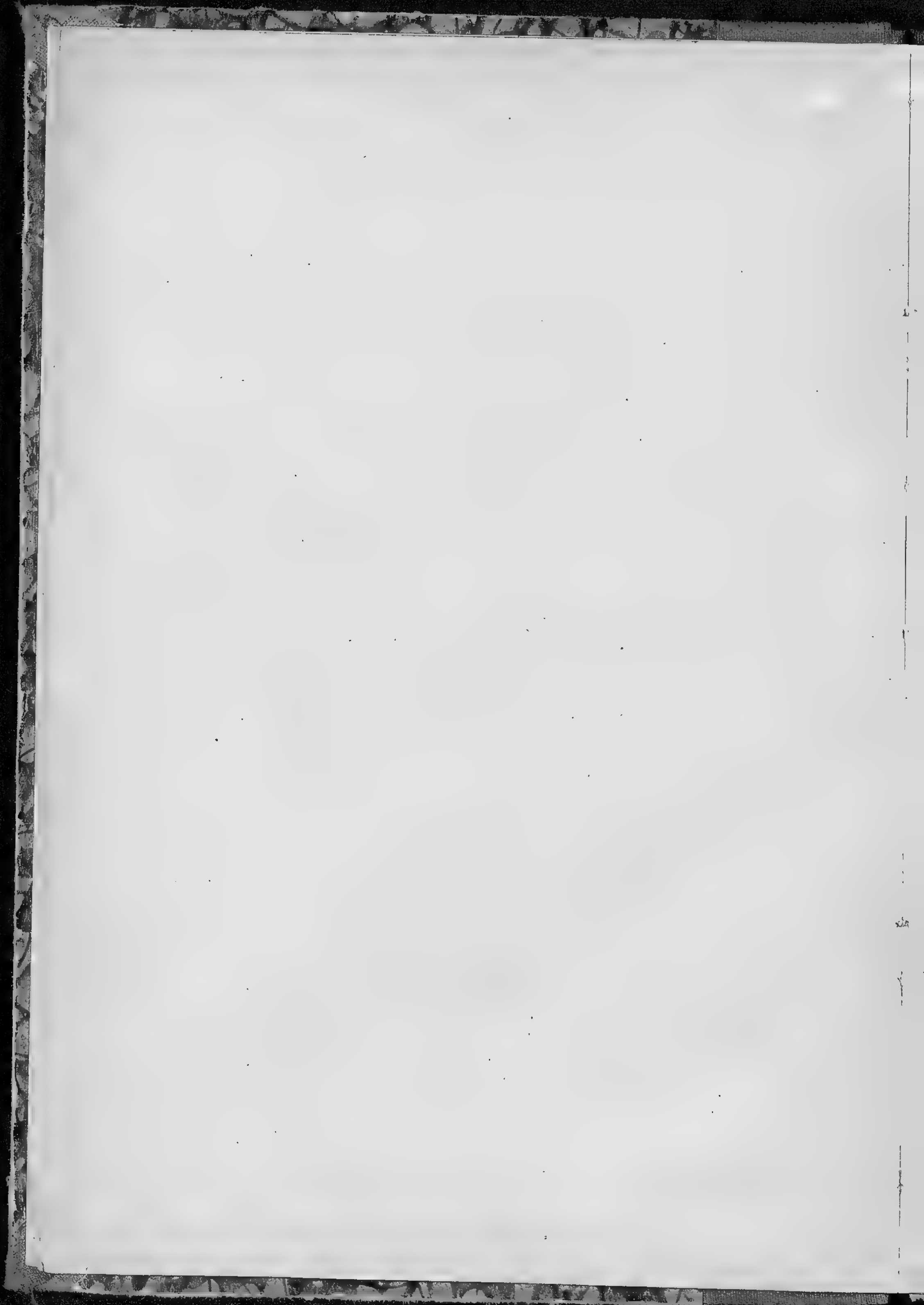
ПРИГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ И СНАБДИЛ ПРИМЕЧАНИЯМИ
Е. ЯКУШКИН

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1926

„Записки Прошлого“ ставят себе целью познакомить широкие круги читателей с литературой мемуаров, дневников и писем, преимущественно неизданных, представляющих историко-бытовой интерес.

Среди исторических материалов—мемуары, дневники и письма занимают особое место. Чрезвычайно ценные для установления фактов и для истории быта, они по самому характеру своему, являясь отражением субъективных впечатлений, редко бывают вполне беспристрастны в своих суждениях и отзывах: люди и события изображаются в них сквозь призму собственного мировоззрения автора, принадлежащего к далекой от нас эпохе, отрезанной от современности годами революции. Этого рода литература не есть фотография, а лишь отголосок прошлого, нуждающийся в критической проверке со стороны историка, но сам по себе интересный для характеристики времени и общества.

Поэтому, приступая к печатанию библиотеки мемуаров, древников и писем, редакция считает нужным предупредить читателя, что издаваемые документы требуют к себе критического подхода; при таком условии эти произведения, дышащие непосредственностью и жизненностью, могут дать яркую картину отошедшей в прошлое культуры с ее мировоззрением, нравами и бытом.



Печатаемые в настоящем сборнике неизданные документы, относящиеся к пребыванию декабристов на поселении в 1839—1855 годах, извлечены из богатейшего архива семьи Якушкиных.

Архив этот заключает в себе бумаги, принадлежащие трем поколениям семьи Якушкиных—декабристу Ивану Дмитриевичу Якушкину, его сыну Евгению Ивановичу и внукам Вячеславу и Евгению Евгениевичам, и охватывает период времени с 20-х годов XIX века до начала настоящего столетия. Основную часть собрания составляет семейный архив Якушкиных в тесном смысле слова. В состав его входят, во-первых, переписка Ивана Дмитриевича: письма к нему жены, детей и тещи Н. Н. Шереметьевой, знакомых, в частности некоторых членов Тайного общества, относящиеся ко времени до 14-го декабря 1825 года, как-то М. А. и А. И. Фонвизиных, П. Х. Граббе, В. А. Перовского, М. А. Салтыкова, П. П. Пассека, М. Н. Муравьева, П. Я. Чаадаева, наконец, обширная переписка Ивана Дмитриевича за время сибирской ссылки в 1835—1856 годы — письма к нему декабристов И. И. Пущина, М. И. Муравьева-Апостола (с 1816 года), М. А. Фонвизина и его жены Н. Д. Фонвизиной, С. П. Трубецкого, Г. С. Батенкова и других, протоиерея П. Н. Мысловского и т. д.; наконец, надо отметить записки самого И. Д. Якушкина [1]) и отрывки дневника, веденного им во время похода в 1815 году. Следующий отдел архива составляет переписка Евгения Ивановича Якушкина, в том числе письма к нему некоторых декабристов: М. И. Муравьева-Апо-

[1]) Первые две части этих записок были изданы Герценом в Лондоне в 1862 г. и перепечатаны в 1874 г. в Лейпциге; третья часть была напечатана в „Рус. Архиве“ за 1870 г. Целиком записки трижды изданы в Москве в 1905 г., с небольшими цензурными сокращениями. В настоящее время должно выйти новое издание под редакцией Е. Е. Якушкина.

стола, Г. С. Батенкова и других, письма целого ряда литераторов и ученых: Ф. М. Достоевского, А. Н. Афанасьева, П. А. Ефремова, И. И. Забелина, А. И. Чупрова, А. С. Постникова и других, собственные письма его к жене, составленные им замечания на записки А. М. Муравьева [1]) и другие бумаги. Большой интерес представляют письма В. Е. Якушкина к отцу с 70-х годов прошлого столетия до начала 1900-х годов, освещающие ход университетской жизни в Москве; среди писем и бумаг, принадлежащих Вячеславу Евгениевичу, есть и такие, которые имеют отношение к декабристам: письма к нему М. И. Муравьева-Апостола и другие.

Перечисленными отделами не ограничивается содержание архива Якушкиных. Добрые отношения Ивана Дмитриевича и его сына Евгения Ивановича со многими деятелями 14-го декабря способствовали тому, что к ним перешли бумаги некоторых из них. Таким образом, к семейному архиву Якушкиных присоединилось большое собрание писем и бумаг других декабристов. Сюда входят 12 переплетенных тетрадей писем различных лиц, в том числе декабристов, к И. И. Пущину за 9 лет (1832, 1839 — 1843, 1847, 1854, 1855 — более 1500 писем), письма самого Пущина к М. И. Муравьеву-Апостолу, записки Пущина о Пушкине [2]); записки и бумаги Н. В. Басаргина [3]); текст „конституции“ Н. М. Муравьева [4]); записка Е. П. Оболенского о Рылееве [5]); автобиография Н. Д. Фонвизиной; рукописные сочинения М. А. Фонвизина: „Обозрение истории философских систем“, его-же очень интересная записка по поводу закона об обязанных крестьянах 1842 года и другие;

---

[1]) Замечания эти напечатаны в „Былом“, № 25 (1925 г.).

[2]) Переданы в Пушкинский дом при Академии Наук.

[3]) Записки Басаргина напечатаны П. И. Бартеневым в сборнике „Девятнадцатый Век“, кн. I (Москва, 1872 г.). Составленные им характеристики некоторых декабристов помещены в № 5 „Каторги и Ссылки“ за 1925 г.

[4]) Передан в б. Румянцевский Музей (ныне Государственная Публичная Библиотека имени Ленина). Конституция издана В. Е. Якушкиным в 1906 г. в приложении к книге: „Государственная власть и проекты государственной реформы в России“ и М. В. Довнар-Запольским в сборнике: „Мемуары декабристов“, и в настоящее время издается вновь Библиотекой имени Ленина.

[5]) Напечатана Бартеневым в сборнике: „Девятнадцатый Век“, книга I.

записка В. И. Штейнгеля о богохульниках (1819 г.) [1]); выписки А. Н. Борисова из французских писателей; Устав артели Петровского завода и артельная книга 1832—1835 годов и т. д.

Наконец, в архиве Якушкиных хранится коллекция исторических документов XVIII — XIX веков, собранная благодаря содействию П. А. Ефремова, с которым были в дружеских отношениях, как Евгений Иванович, так и Вячеслав Евгениевич Якушкины. Из бумаг, не относящихся к декабристам, заслуживают внимания архив А. Н. Афанасьева, в который входят его записки, дневники и переписка.

Таково в кратких словах разнообразное содержание этого ценнейшего для истории декабристов архива, из материалов которого издана лишь ничтожная часть.

Для напечатания в настоящем сборнике избрано несколько писем, которые рисуют обстановку жизни декабристов в ссылке и дают материал для характеристики отдельных из них. По этим соображениям в сборник внесены письма к И. И. Пущину С. Г. Волконского от 3 января 1842 года, Ф. Ф. Вадковского от 10 марта 1840 г., 10 сентября 1842 г. (с припиской на имя Е. П. Оболенского) и 10 сентября 1843 г., Е. П. Оболенского от 17 октября 1839 года, и два письма И. Д. Якушкина к сыну Е. И. Якушкину от 24 июля и 4 августа 1854 г. Особняком стоит переписка И. Д. Якушкина, И. И. Пущина и Н. В. Басаргина в марте 1842 года (письма Пущина к Якушкину от 7 марта, Якушкина к Пущину от 17 марта и Басаргина к Пущину без даты), в которой обсуждается волновавший декабристов вопрос о способах добывания средств к жизни на поселении. Наконец, письмо П. С. Бобрищева-Пушкина от 22 сентября 1841 года с приложенными к нему копиями писем Лисовского к нему и к А. Б. Аврамову (от 1840 года) дает новые подробности о загадочной смерти декабриста И. Б. Аврамова.

В качестве введения к печатаемым письмам, помещаются два письма, писанные Е. И. Якушкиным жене, во время его

---

[1]) Из архива Якушкиных извлечены напечатанные Щеголевым в сборнике: „Обществ. движения в России“ (1905 г.) копия воспоминаний Штейнгеля и его записка о гражданстве и купечестве (1817 г.).

поездки в Сибирь для свидания с отцом в 1855 году. Во время этой поездки Евгений Иванович имел случай встретиться и беседовать с целым рядом декабристов, пребывавших как в западной, так и в восточной Сибири, а также с петрашевцем Ф. Г. Толем. Письма Е. И. Якушкина вводят нас непосредственно в общество декабристов в Сибири в средине 50-х годов; в них мы находим и яркие характеристики деятелей 14-го декабря, и записи их рассказов. Таким образом, создается цельная картина жизни декабристов на поселении, и на фоне этой картины делается более ясно содержание печатаемой ниже переписки самих декабристов и личность авторов отдельных писем, о многих из которых (Пущине, Басаргине, Оболенском, Бобрищеве-Пушкине, Волконском) Евгений Иванович говорит в своих письмах.

В заключение в сборнике напечатаны записи петрашевца Ф. Г. Толя, находившегося на поселении одновременно с декабристами и там сблизившегося с ними. Записи эти сделаны со слов разных лиц, преимущественно М. И. Муравьева-Апостола и княгини Е. А. Долгоруковой [1]); автором нескольких рассказов является С. Г. Волконский. Составлены они сравнительно поздно, несомненно, уже после 1857 года, когда Феликс Густавович, по амнистии, возвратился в Россию; это явствует из рассказов о свидании Н. Н. Муравьева с М. И. Муравьевым-Апостолом, по возвращении последнего на родину, и об отказе А. Н. Муравьева видеться с ним. С другой стороны, рассказ кн. Долгоруковой о семье Пушкина записан до 1859 года, когда вышла замуж старшая дочь поэта Мария Александровна, о которой здесь говорится, как о незамужней. Более точную датировку могло бы дать сообщение о том, что Дантес „в прошедшем году получил место при Людовике-Наполеоне“, но неопределенность этого сообщения не позволяет им воспользоваться. Значительная часть записей касается биографий декабристов и отдельных эпизодов, связанных с декабрьским выступлением. Поэтому, казалось уместным напечатать их в на-

---

[1]) О кн. Е. А. Долгоруковой см. IV выпуск „Записей Прошлого“: „Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым“ (под ред. М. А. Цявловского), прим. к II, 17, на стр. 136—137.

стоящем сборнике, тем более, что о Толе говорится в письмах И. Д. и Е. И. Якушкиных.

Печатаемые документы должны, по мысли издателей, представить свежие данные для характеристики декабристов. Но этим не ограничивается их интерес, и в них можно найти материал по истории культурного слоя русского общества первой половины XIX века, в широком смысле слова. В этом отношении особенно важны записи в тетради Толя о Пушкине, сделанные со слов кн. Долгоруковой, которую необходимо сравнить с отрывком ее рассказа, записанного Бартеневым [1]. В первом письме Е. И. Якушкина интересен рассказ о встрече с артистом М. С. Щепкиным и описание его игры; там-же говорится об известном издателе сочинений Пушкина П. В. Анненкове, о слависте профессоре Григоровиче, о профессоре И. К. Бабсте, и сообщается об них ряд характерных черточек.

Весь материал для настоящего сборника подобран и подготовлен к печати Е. Е. Якушкиным. Ему же принадлежат вводные заметки, примечания и указатель.

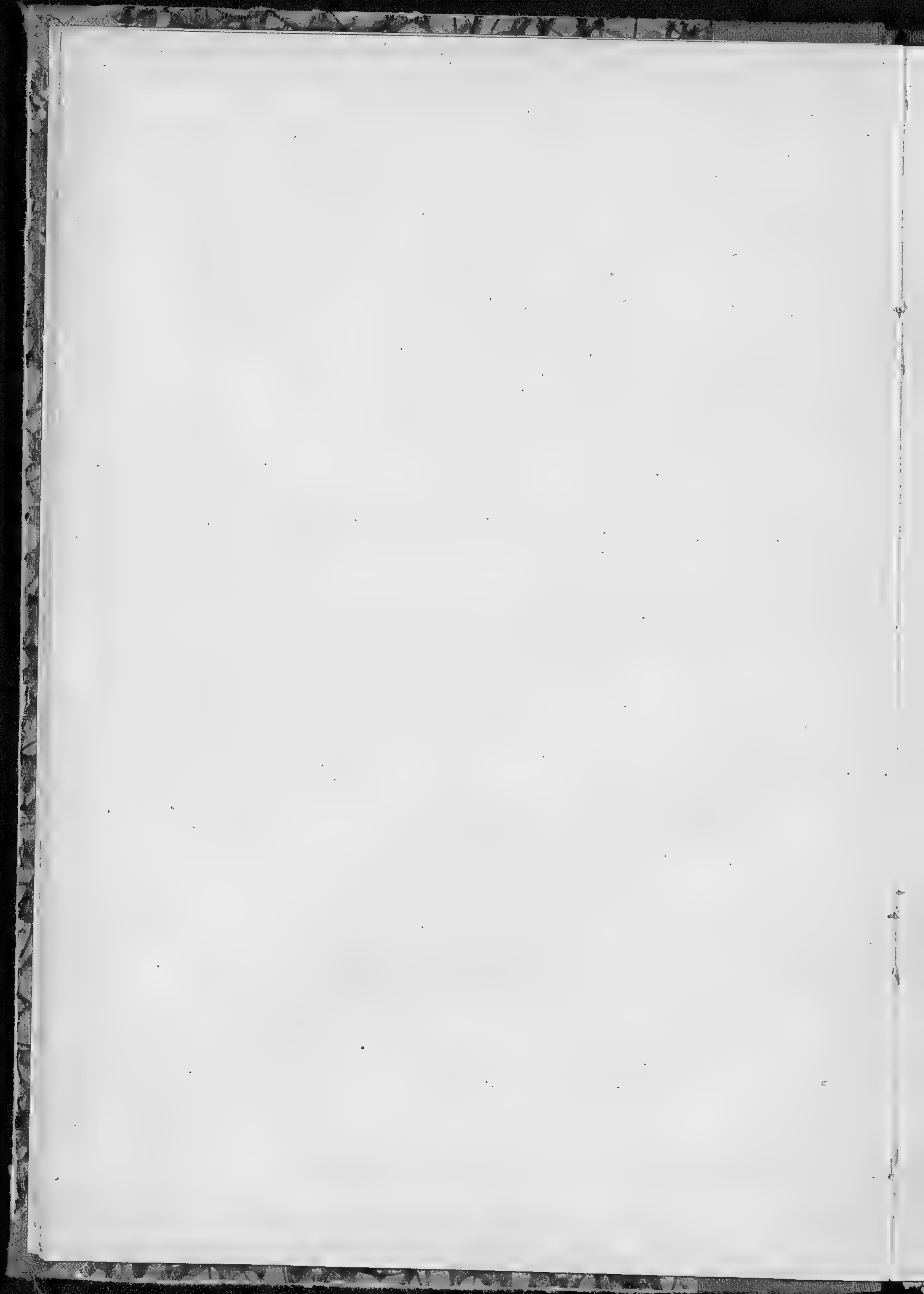
В будущем „Записи Прошлого" предполагают, при содействии Е. Е. Якушкина, продолжать издание документов из архива Якушкиных.

С. Бахрушин.

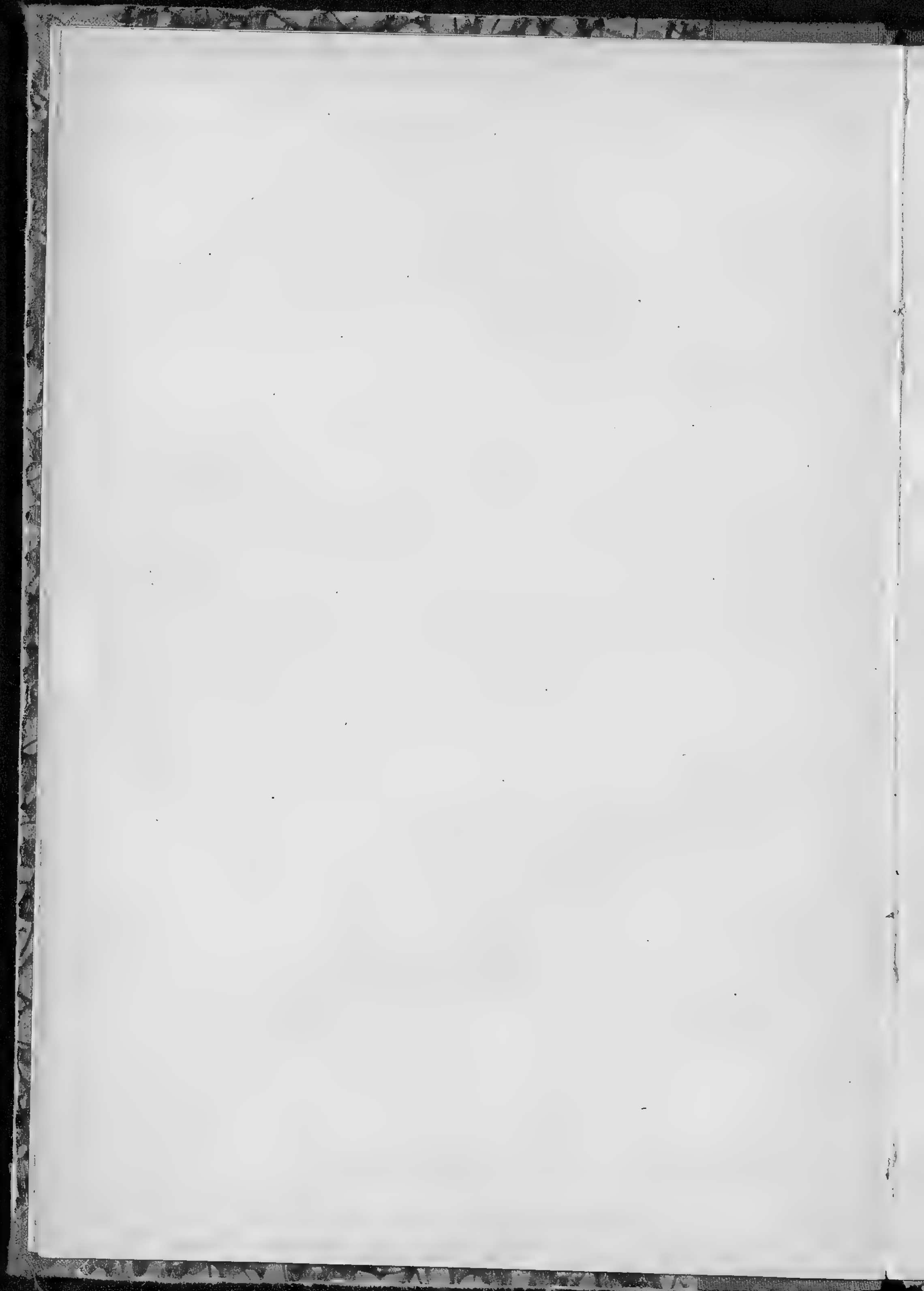
14 декабря 1925 года.
Москва.

---

[1] См. „Рассказы о Пушкине", стр. 62.



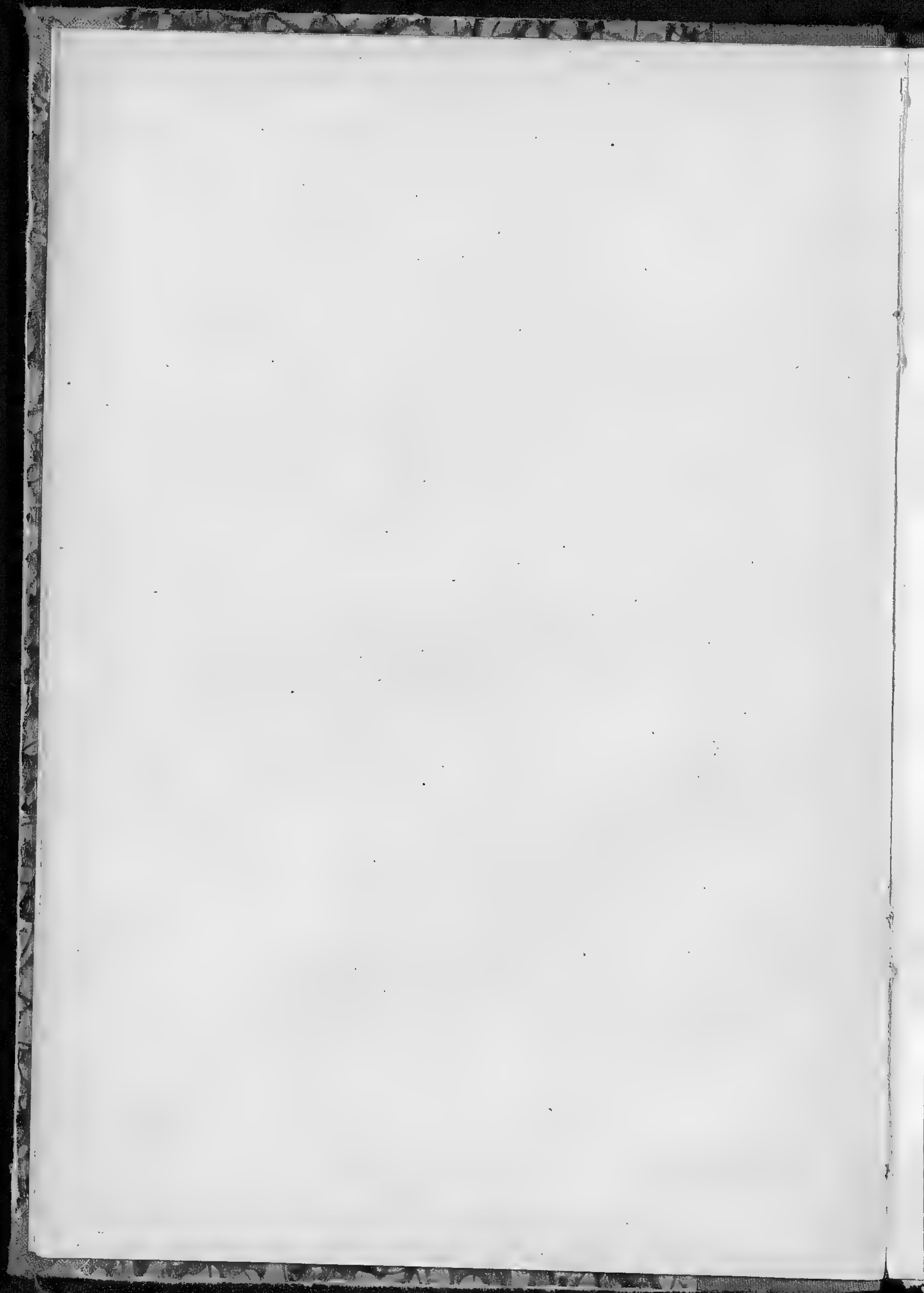
ДЕКАБРИСТЫ НА ПОСЕЛЕНИИ



I

ПИСЬМА Е. И. ЯКУШКИНА К ЖЕНЕ ИЗ СИБИРИ

1855 г.



Печатаемые два письма Евгения Ивановича Якушкина, младшего сына декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, писаны были из Сибири к жене Евгения Ивановича — Елене Густавовне, рожденной Кнорринг. Е. И. Якушкин два раза ездил в Сибирь; первый раз он был там в 1853—54 году, когда он впервые увидался с отцом своим, второй раз в 1855—56 году. Писем от его первой поездки не сохранилось.

1.

16-го августа [1]) рано утром приехал я в Нижний Новгород и тотчас же пустился отыскивать Михаила Семеныча [2]), я думал уехать в тот же день и поэтому хотел остановиться у него. Все мои поиски были тщетны. Наконец, я решился остановиться в какой нибудь гостинице, поближе к ярмарке; часа полтора я ездил из улицы в улицу, от одного дома к другому и нигде не мог найти ни одной комнатки, наконец, отыскал за 1 р. 30 к. дрянную комнату около самой московской заставы. Я наскоро умылся, переоделся, взял извозчика и поехал опять отыскивать М[ихаила] С[еменовича].

В театре я насилу мог узнать, где он остановился, оказалось, что мы живем с ним чуть что не в одном доме. Когда я пришел к М[ихаилу] С[еменовичу], он собирался итти на репетицию и мы условились обедать с ним вместе, в 12 часов я должен был заехать за ним в театр.

Проводивши до театра М[ихаила] С[еменовича], я пошел к Анненкову — он жил в губернаторском доме вместе с братом. Он

[1]) 1855 г.

[2]) Артист М. С. Щепкин.

предложил мне чаю, от которого я, разумеется, не отказался, тем более, что еще чаю не пил. Погода была отличная и поэтому мы вышли пить чай на террасу. Что оттуда за вид! Дом стоит на очень высокой горе, внизу виден город, ярмарка, а главное: Ока со множеством барок и Волга с пароходами, барками, народом, толпящимся у Сибирской пристани, и лодками, беспрестанно плавающими взад и вперед.—Я, сколько ты меня знаешь, не большой охотник восхищаться природой, но этим видом, действительно, восхитился и больше обращал внимания на Волгу, теряющуюся в недосягаемой глазу дали, чем на рассказ Анненкова, впрочем, чрезвычайно интересный. Он рассказывал о вновь найденных бумагах Пушкина, о новом издании, которым он хотел заняться и о том, как купцы плохо раскупают на ярмарке его первое издание, — несмотря на то, что директор ярмарки хлопотал об этом изо всех сил, т.-е. просто навязывал купцам его издание. Впрочем, он, кажется, напрасно жаловался — еще ярмарка далеко не кончилась, а у него уже купили 100 экземпляров. Признаюсь, официальные меры для сбыта издания Пушкина мне очень не понравились, тем более, что они не нравились и купцам. — Ну, скажи пожалуйста, из чего человек бьется— он сам говорит, что никак не будет в накладе от издания, затевает даже начать другое — и хлопочет о том, чтобы всеми неправдами спустить несколько десятков лишних экземпляров. Иеремиада Анненкова против купцов была прервана вдруг каким-то неожиданным шумом.—„Что это такое, П[авел] В[асильевич]“,—спросил я.—„А это арестанты в цепях работают у нас в саду“.—И точно, около террасы показался арестант в сопровождении часового. Я очень хорошо знаю, что арестанты ходят в цепях, что их употребляют в работы, видел даже не раз Достоевского с лопатой или метлой в руках, с ножными железами, с головой вполовину обритой, с конвойным, опустившим на землю ружье и равнодушно смотрящим по сторонам; кажется, не все ли равно, работает ли арестант на большой дороге или в саду, в котором я сижу и пью чай, однакож—не все равно. Мне кажется, я не мог бы спокойно сидеть в саду, где почти беспрестанно слышен шум цепей.—Я взял фуражку и поехал в театр, да и пора было ехать; М[ихаил] С[еменович] уже ждал меня на крыльце и, вероятно, бранил в душе,—хоть и не пока-

зал виду, что бранит. Обедать было рано, мы отправились сначала в какую-то кофейную пить шоколад. М[ихаил] С[еменович] своим многочисленным знакомым, которых он не знал даже иногда, как зовут, рассказывал, что я еду в Сибирь, и что он меня провожает. Выходя из кофейной, я было хотел заплатить, но старик объявил, что он на это ни за что не согласится и что целый день он будет угощать меня на свой счет. Перед обедом мы зашли к В. П. Боткину, который был, кажется, не в духе, потому что торговля его шла очень плохо. — М[ихаил] С[еменович], разумеется, утащил и его обедать к какому то Никите, у которого, как говорил М[ихаил] С[еменович], только и можно есть. Наконец, пришли мы к Никите,—М[ихаил] С[еменович] стал расспрашивать про обед и в то же время ухаживал за мной до такой степени, что даже сам Василий Петрович умилился и, ко всеобщему, и, в особенности моему, удивлению, спросил шампанского. За обедом мы условились быть вечером в театре. М[ихаил] С[еменович] должен был играть роль пьяницы в комедии „Бедность — не порок“ и чрезвычайно был доволен, что ему представился случай попробовать свои силы в этой роли.

После обеда я поехал на мост поискать старых журналов, — но их было очень мало и они были слишком дороги, так что я ничего не купил. Потом отправился к Дороховой, директрисе института, бывшей прежде в Иркутске, и, забравши от нее посылки в Сибирь, поехал пить чай к М[ихайлу] С[еменовичу]. М[ихаил] С[еменович] все время рассказывал про театр и ужасно жаловался на актеров, особенно приезжих, никто из них не учил ролей, а о репетициях и говорить нечего, — на них никто не являлся. Он очень хвалил свою роль, —но я ему не очень верил, ежели вспомнить, что он хвалит [пьесу] Гаррика — самую скучную из самых скучных комедий. По дороге в театр мы прошлись по ярмарке — разумеется, я все таки не получил о ней ни малейшего понятия, да ежели бы пробыл и еще неделю, то было бы то же самое. Видишь лавки и ничего больше, даже нет той суматохи, которою отличаются ярмарки в деревнях и маленьких городах.

Подходя к театру, мы условились с М[ихаилом] С[еменовичем], что просмотрю только две первые пьесы, потом зайду за ним и мы

отправимся вместе с ним пить чай. Отъезд мой я отложил до следующего дня, потому что на другой день в 8 часов утра отходил пароход в Казань и мне во всех отношениях было выгодней ехать на нем, чем на почтовых. На другой день М[ихаил] С[еменович] должен был придти разбудить меня и проводить до парохода. При входе в театр М[ихаил] С[еменович] попросил какого-то длиннополого капельдинера дать мне получше место в креслах и поближе ко входу на сцену и в его уборную. Я взял билет и долгополый капельдинер усадил меня, действительно, близко к выходу, но в такую трущобу за колоннами, что сцены почти не было видно; к счастью народу было не очень много, и я мог передвинуться. Представление началось с водевиля. Играли удивительно плохо. Марковецкий (Пав. Павлыч) пищал не хуже кукольного Петрушки. Когда началось представление „Бедность не порок"—и явился Щепкин, то хоть немножко можно было отдохнуть от невыносимого представления водевиля и отвратительного писка Марковецкого. Щепкина, разумеется, принимали отлично. О самой пьесе писать нечего, потому что ты ее видела. Игра Щепкина была, по моему мнению, слаба: во 1-х, он с самого начала расчувствовался и беспрестанно плакал, во 2-х, он произносил свою роль как-то нараспев—чего я прежде за ним не замечал. Пьеса до такой степени слаба, что из рук вон, но патетические места в ней чрезвычайно забавны,—и так как я видел ее в первый раз—то мне не было скучно. Что, например, может быть смешней молодого приказчика, который рассказывает о своей несчастной любви фразами, взятыми из русских песен.—Да и самая мысль автора до такой степени не укладывается в содержание пьесы, что напоминает собою кряковую утку, которая, спрятавши в траву голову, уверена, что охотник ее не видит. Мысль автора более высказывается в отдельных фразах, чем в содержании пьесы.

Тотчас после окончания комедии я пошел в уборную к М[ихаилу] С[еменовичу]. Там уже сидели Боткин и Анненков. Оба превозносили до небес игру Щ[епкина]. В[асилий] П[етрович] беспрестанно повторял: „прекрасно, прекрасно, превосходно", а П[авел] В[асильевич] уверял, что М[ихаил] С[еменович] создает совершенно новое лицо. „Видите ли что",—сказал М[ихаил] С[еменович],—Садовский не дает никакой жизни этому лицу, поэтому пре-

красная роль пропадает, а лицо это мне знакомое; я вам рассказывал про Пантелей Иваныча, мне стоило только вспомнить о нем, чтобы понять роль. Это не простой пьяница, — а прекрасный, добрый, благородный человек, который по несчастию спился, и лицо его представляется еще живее, потому что в комедии выставлен его брат — черствая, сухая натура. Вот в чем дело. Вот, что следовало показать. П[авел] В[асильевич], вы непременно должны напечатать об этом, как должно понимать эту роль, — мне хочется что-бы Садовский обратил на нее внимание, а то она у него совсем пропадает". П[авел] В[асильевич], разумеется, обещался напечатать.

Началось представление заключительного водевиля. Боткин и Анненков пошли смотреть на него, а мы с М[ихаилом] С[еменовичем] отправились к нему пить чай. Я, разумеется, не говорил ни слова о комедии и игре М[ихаила] С[еменовича], но он сам начал разговор об ней. „Сегодня я никак не мог удержаться, чтобы не расплакаться, — сказал он, — ну и не мог уже справиться с собой до конца". — Отчего, М[ихаил] С[еменович], вы говорили сегодня нараспев, чего с вами никогда не бывает? — „Оттого, что я не совладал еще с ролью — мало над нею работал, а роль стоит того, чтобы над ней потрудиться". — Мне кажется, М[ихаил] С[еменович], что из этой роли ничего нельзя сделать. — „Нет, роль прекрасная, но ее трудно выполнить, надо показать, что под этой грязной оболочкой скрываются такое благородство и доброта, какие редко встречаются. Вы знали Пантелей Иваныча: он служил при театре парикмахером и жил у меня. Это был добрый, прекрасный человек, — но у него была одна слабость: по временам запивал и тогда не было никакой возможности остановить его, он пропивал все. Один раз он очень долго пьянствовал; я призываю его и говорю: „Ну, Пантелей Иваныч, вы сами видите, что нам жить вместе нельзя. Вы мне несколько раз обещались не пить, но не хотите держать своего обещания. Мне очень жаль, что мы не можем вместе жить, но что же делать". Пантелей Ив[аныч] не сказал ни слова на это и тотчас же от меня переехал — говорят только очень плакал. Недели через две приходит Пант[елей] Ив[аныч] к моей жене и говорит, что ему до крайности нужно 15 руб. Я сказал жене,

чтобы она дала от себя, как будто я об этом не знаю. На другой день слышу, что Пант[елей] Ив[аныч] расплачивается с долгами, но не пьет. Я все дожидаюсь, когда получит он из театра жалованье,—он каждый месяц пропивал в последнее время все жалованье. Наконец, месяц кончается, роздали жалованье. Пан[телей] Ив[аныч] не пьет и приносит к жене 15 р., которые занял. Я как то увидел его в театре и говорю ему: „Пант[елей] Ив[аныч] причешите мне паричек". Когда он у меня жил, то всегда приводил все мои парики в порядок. Старику эта просьба была чрезвычайно приятна. Он увидел, что я на него не сержусь и начал ходить ко мне чаще. Я вижу у него есть деньги, но он не пьет. Вот один раз он приходит ко мне, я отвожу его в сторону и говорю: „Пант[елей] Ив[аныч], не хотите ли переехать ко мне жить"? —Старик ни слова мне не отвечал, упал мне в ноги и зарыдал, как ребенок. После этого он жил у меня несколько лет, до самой смерти, и не только никогда не был пьян, но даже никогда не пил вина. Когда я прочел в первый раз „Бедность не порок", мне тотчас представился Пант[елей] Ив[аныч] и может быть оттого, что я его так коротко знал, мне было легко понять мою роль. В Москве я никогда бы не стал играть ее, я знаю, что это было бы неприятно Садовскому—но я чрезвычайно обрадовался, когда мне представился случай сыграть ее здесь и показать настоящий характер этой роли и что из нее можно сделать".

— Мне кажется, М[ихаил] С[еменович], что вы придаете и этой роли, и комедии такой смысл, которого в ней вовсе нет. Создать характер можно только тогда, когда характер не довольно определен в самой пьесе. Так, говорят, Кин придавал характер выходным лицам, которые даже не произносили ни слова на сцене,—но как можно создать характер такого действующего лица, которое определено автором совершенно?

— „Да я и не думаю создавать характера, а хочу только верно выполнить мысль самого автора, и мысль прекрасную. Он хотел показать, что нельзя презирать человека, как бы ни казался он грязен, он прекрасно выставил презрение к пьянице его брата,—человека сухого, и, наконец, победу этого пьяницы над братом. Согласитесь, что мысль прекрасная".

— Конечно, прекрасная мысль, но только эта мысль принадлежит вам, а не автору комедии. Автор хотел высказать совсем

другое: он хотел показать, что натура русского человека превосходна сама по себе, и что всякое прикосновение с западными понятиями и обычаями для нее пагубно. Как рассказывает пьяница свою историю? Отчего он погиб? оттого что стал жить не по-русски,—стал сорить франками. Отчего он стал порядочным человеком—или, по крайней мере, добрым человеком? Оттого, что увидал, как пагубно всякое подражание западной жизни. Автор нисколько не хотел представить брата этого пьяницы злым или даже сухим человеком,—он делает зло только потому, что он англоман или франкоман. Ежели не обращать внимания на многие отдельные фразы, которые ясно высказывают мысль автора, то можно отыскать в комедии, пожалуй, и другую мысль об которой автор и не думал, но во всяком случае эти отдельные фразы определяют уже до такой степени характер действующих лиц, что придать им тот характер, о котором говорите вы, невозможно. Вот почему мне кажется, из вашей роли нельзя ничего сделать.

На эту тему продолжался у нас несколько времени спор, но М[ихаил] С[еменович], кажется, не убедился моими доводами, потому что горячо отстаивал комедию против всех моих нападений. Я твердо убежден, что автор не имел в виду мысли, которую хочет навязать ему М[ихаил] С[еменович]. Это доказывает уже и то, что Островский доволен игрой Садовского, между тем как Садовский, по словам М[ихаила] же С[еменыча], нисколько не передает в игре своей этой мысли.

Часу в 1-м я ушел домой, уложил вещи и, разумеется, сейчас же лег спать. На другой день я проснулся в конце 6-го часа. М[ихаил] С[еменович] пришел в 6 ч. и уже застал меня на ногах—мы тотчас же отправились с ним на Сибирскую набержную, откуда должен был итти пароход—здесь мы проговорили еще с полчаса и простились.

Пароход должен был выйти в 8 час. и, разумеется, вышел в 9. В каюте 1 класса, где поместился я, общество было чрезвычайно разнообразное. Здесь было человек 10 купцов и с бородками и без бородок, одни из них ворочали большими капиталами, другие приезжали в Нижний закупить товару для своей мелочной торговли. Кроме того, был один мещанин из Екатеринбурга, казанский татарин, князь Абдул, торгующий кожами, поп, лет 45,

с рыжей бородой, симбирский помещик, какой-то Мусин-Пушкин, и сосед мой—статский генерал, ехавший служить в Пермскую губернию и весьма сконфузившийся, когда открылось, что он генерал, не знаю, оттого ли, что ему было стыдно сидеть с такой мелюзгой или было стыдно быть генералом; он молчал почти всю дорогу,—а когда говорил, то употреблял самые учтивые выражения. Я позабыл еще сказать, что с нами был студент из Казанского университета, пускавшийся в самые ученые и отвлеченные разговоры. Сначала разговор как-то шел вяло, но скоро оживился. Татарин немилосердно пил пиво и из молчаливого человека обратился в говоруна, впрочем это продолжалось недолго—через час он уже свалился под стол и начал буянить, так что его должны были вывести из каюты. Потом выступил на сцену Мусин-Пушкин—большой говорун, потешавший всю публику. Сначала он завел разговор с попом о свящ. писании, потом стал читать попу оду „Бог“, чему поп был очень рад, потому что, как оказалось, в богословии был не силен, потом Мусин-Пушкин стал читать другие стихи и уже преимущественно скандальные. Надо было видеть какую рожу сделал при этом поп, желавший сохранить всю важность. Но самый говорливый и замечательный из всех моих спутников был екатеринбургский мещанин Шепырев. Он сначала сидел на палубе и явился в каюту совершенно пьяный. Замечателен он был тем, что в продолжении 36 часов, т.-е. во время всего пути, он ничего не ел—а все пил и притом одну только водку. В продолжении этого времени он выпил водки на 9 рублей серебром, т.-е. 90 довольно больших рюмок. Говорил он безумолку, не обращая нисколько внимания на то—слушают его или нет. Сначала он начал рассказывать о изобретенной им водоподъемной машине, на которую он взял привилегию, потом о фортепианах, изобретенных его приятелем; форт[епианы] эти чрезвычайно, по его словам, сладкозвучны, а между тем их слышно на 15 верст; потом он стал врать такую чепуху, в которой уже и совсем не было никакого смысла. Ночью он улегся было спать, но просыпался раз десять и как только просыпался начинал болтать.

Я уже писал тебе, что пароход шел 12 часов долее, чем следовало, потому что в первые сутки не съели всей

приготовленной на проезд провизии, а торг провизией на пароходе чрезвычайно выгоден: дрянной обед из 4-х блюд стоит рубль сер., а на вине, вероятно, выручили процентов 200. В Казань, т.-е. не в самый город, а на пристань, верстах в 5-ти от города, мы приехали в 10-м часу вечера. Я взял ломового извозчика, положил на телегу свои вещи, взгромоздился на них сам и поехал отыскивать Бабста по ужасно скверной дороге и в ужасной темноте. Бабста, к счастью, я нашел скоро и застал у него человек семь, словом приехал чуть не на бал. Бабст, разумеется, мне обрадовался, начались расспросы и рассказы про Москву и кончились уже поздно ночью. Бабст живет в польском обществе; поляки, которыми он окружен, люди очень умные и, поэтому, ему не скучно; переехать в Москву он уже, кажется, не надеется и с казанскою жизнью несколько примирился.

На другой день он угостил меня отличной ухой и засадил было в карты, но от карт я решительно отказался, потому что в последнее время и в Москве они мне порядочно надоели. Вечером нашли к Бабсту опять гости и, между прочим, пришел Григорович, профессор славянских наречий — не знаю почему ему показалось, что меня очень занимают славянские наречия,— я право не подал к этому никакого повода. Как бы то ни было, только он взял с меня слово, что на другой день я приеду к нему посмотреть его собрание рукописей. На другой день делать было нечего, отправился я с Бабстом к Григоровичу. Он, бедный человек, обрадовался нам ужасно: предмет, которым он занимается в Казани, решительно никого не интересует, на рукописи его никто не хочет и смотреть, поэтому, ты можешь себе представить, как он был рад случаю показать их. Сначала он, разумеется, показывал рукописи менее редкие (большая часть его рукописей, впрочем, древнее 15-го века и потому почти все редкие).—Объяснял, к какому веку относятся, кем написаны, кому принадлежали—что в них особенно замечательного. После такого краткого пояснения, весьма занимательного, он передавал каждую рукопись мне или Бабсту—мы брали их, переворачивали несколько страниц и смотрели на них очень пристально, с самым тупым выражением лица, потому что ничего в них не понимали. Этот осмотр производился молча,

а ежели и делались иногда замечания, то так невпопад, что лучше было молчать. Впрочем, Григорович был на седьмом небе и был чрезвычайно доволен, когда ему делали какой нибудь вопрос,—как бы ни был пошл этот вопрос. На него было приятно посмотреть—он с такой любовью говорил о своих рукописях, что хоть нам и давно было пора уехать, но мы остались и уехали часом позднее, чем предполагали. Рассказы его о путешествии по славянским землям, по Турции и Греции чрезвычайно любопытны.—Вам, вероятно, это собрание стоило много и денег, и труда,—спросил я его. „Нет, денег оно мне стоило не много,—отвечал он,—у меня были самые ничтожные денежные средства, а то бы я мог собрать гораздо больше; но труда было не мало. Меня обвиняют в том, что я крал рукописи—но видите ли, как я делал: сначала я купил несколько рукописей, потом променивал их в церквах и монастырях, разумеется получал при этом более редкие рукописи, потому что священники и монахи не имеют никакого понятия об их достоинстве, некоторые рукописи мне дарили на память. В одной церкви рукопись разодрали пополам, — одну половину отдали мне, другую оставили в церкви. Но вообще доставать их было очень трудно. Бывало, придешь в церковь—попросишь показать библиотеку или просто книги — покажут только печатанные книги и скажут, что больше нет. Вот я и попрошу, чтобы мне показали чердак или подвал и нахожу там обыкновенно сваленные в кучу бумаги—они никому не нужны, они уж частью сгнили и совсем скоро сгниют -- как же не взять их. Самые древние отрывки из рукописей славянских и греческих нашел я в развалившейся конюшне одного упраздненного монастыря—они кучею были навалены в углу, и я тут же отобрал все сколько нибудь замечательное. Как же можно было оставить их тут? Да мне их отдали охотно. Вот в монастырях на Афонских горах, там дело другое—монахи, хотя и не знают цены рукописям и в этом отношении совершенные невежды, но не любят отдавать их. Глаголитское евангелие, самый древний изо всех известных славянских списков евангелия, отдали мне только потому, что считали его за жидовскую рукопись. В одном монастыре настоятель не показал даже, где помещается монастырская библиотека. Вообще, тут уже надо было действовать

иначе, надо было познакомиться с любимцами настоятелей, обыкновенно весьма красивыми мальчиками—и доставать книги через них или действовать через них на настоятелей. В монастыре, о котором я вам говорил, где мне не хотели показывать библиотеку, я уговорил монаха, чтобы он показал мне, где у них лежат книги. Я знал, что тут должно быть много рукописей и не ошибся. Ночью монах повел меня к окну библиотеки и сквозь решетку я увидел множество рукописей, частью уже изорванных и лежавших в беспорядке на полу. Пройти в библиотеку я все таки никак не мог; наконец, удалось мне уговорить любимца настоятеля, конечно, я ему за это заплатил, достать из библиотеки нужные мне рукописи и, чтобы не догадались, что он передает их мне, то принести их ночью на кладбище и положить там. После первого моего осмотра библиотеки в окно — я несколько раз подходил, когда меня никто не видал, к этому окну и рассматривал рукописи. Поэтому я и мог объяснить любимцу настоятеля, где лежат рукописи, которые мне нужны; — он точно принес ночью на кладбище взятые им из библиотеки книги и бумаги. Это, действительно, было, в этом я признаюсь, и я этого не скрываю, потому что не вижу тут никакого греха. Многие доставшиеся мне при этом драгоценные рукописи уже сильно попортились и могли бы совершенно уничтожиться; и ежели я раскаиваюсь в чем, так только в том, что не взял гораздо более рукописей из этого монастыря".

Как, в самом деле, достает у некоторых смелости называть это кражей — это просто спасение погибающих, за которое стоит ему дать медаль на георгиевской ленте, потому что похождения его не были лишены некоторой опасности.

Я не мог передать тебе всего драматизма его рассказа, всех его волнений при розыске рукописей,—радости, когда он находил редкость и страх, что ее не отдадут ему, и она навсегда погибнет. С каждой рукописью связано у него воспоминание целой драмы. Хоть в Казани никто ему не сочувствует, но он доволен своей жизнью там,—нигде, может быть, не мог бы он так дешево покупать рукописи, как он покупает их здесь у раскольников. Недавно приобрел он за 15 р. сер. Златоуст на пергаменте 13 века. Теперь перевезли в Казань, по случаю войны, библиотеку Соловецкого монастыря — она в Духовной

Академии, но до сих пор Григоровичу не позволяют ею пользоваться, потому что боятся, что он откроет какую нибудь редкую рукопись и напечатает об ней; между тем сами они ничего не смыслят, но так как от Академии издается или предполагается издаваться журнал, то им кажется оскорбительным для их ученой чести, ежели о рукописях Соловецкой библиотеки будет напечатано что нибудь прежде, чем в их журнале. Разумеется, это мучит Григоровича; но он надеется, что со временем ему позволят пользоваться этой библиотекой.

Мы расстались, наконец, кажется, совершенно довольные друг другом. По крайней мере я не раскаивался, что съездил к нему. От него мы поехали в контору вольных почт — взять билет до Екатеринбурга. Из конторы Бабст завел меня к Савельеву, управляющему вольными почтами. Он страстный нумизмат и не уступает Григоровичу в любви к предмету, которым занимается, хоть, признаюсь, эта любовь мне не так понятна. Что у кого болит, тот о том и говорит: разумеется и у нас сейчас же начался разговор о нумизматике. Сперва Савельев распространился о медалях—и при этом показал свои медали, потом нелегкая меня дернула спросить про собрание его русских монет. „А вы хотите их видеть“,—спросил он.—Как же не хотеть?—„Ну так я вам покажу рубли“,—с этими словами он достал мешочек, в нем были две искривленные серебряные палки с толстый карандаш толщиной и длиной — это были старинные рубли, хоть в этом и можно еще усумниться, несмотря на то, что все нумизматы уверены, что у старых рублей была именно эта форма. Потом выложил он рубль Алексея Михайловича, потом рубль Петра I-го. Петр I-й меня совершенно замучил, мне пришлось выслушать целую диссертацию о различии петровских рублей 1721 г. В этот год выбито было различных рублей более 20 штук, и вся разница между ними состоит в том, что на одном надпись несколько крупнее, на другом она разделена посредине звездочкой, на третьем у Петра на латах сделан лишний гвоздик и т. д. К счастью Петром Первым кончилось наше нумизматическое обозрение, после которого мы с Бабстом тотчас же почти и уехали.

На другой день вечером, часов в 11, я выехал из Казани, дорога была прекрасная, погода тоже, и на перекладной ехать было от-

лично. Подъезжая к Ялуторовску (я тебя избавляю от описания дороги до Сибири), я стал давать больше на водку и поехал скорее. Последние станции я ехал верст 20 в час. Я еще в Москве постановил остановиться у Пущина, но, так как дом М. И. Муравьева ближе к заставе, то я заехал сначала к нему. Его не было дома, он уехал на охоту. Ко мне выбежали на крыльцо Марья Константиновна, жена его, моя большая приятельница, известная тебе Гутинька [1]) и еще более известная Аннушка—я со всеми перецеловался, поболтал с ними минут 10 тут же на крыльце и отправился к Ивану Ивановичу [2]). Прямо против него живет Басаргин — жена его увидала меня в окошко; я, разумеется, подошел поцеловаться с ней. Она разбудила мужа, который спал после обеда—и у нас начался было очень живой разговор, как вдруг появился у своего окна Иван Иванович и стал звать к себе. Я наскоро пообедал у него и начались расспросы и рассказы про Россию. Рассказывать было что: в Ялуторовске не знали еще про дело на Черной речке [3]). Хоть я описывал тебе прежде ялуторовских жителей и ялуторовскую жизнь, но об жителях не лишнее сказать еще несколько слов: по отъезде Тизенгаузена [4]) и отца [5]) здесь остались Пущин, Басаргин, Оболенский, Муравьев-Апостол и вдова Ентальцева. Пущин, несмотря на то, что ему теперь 57-8 лет до такой степени живой и веселый человек, как будто он только что вышел из лицея. Он любит посмеяться, любит заметить и подтрунить над чужой слабостью и имеет привычку мигнуть, да такую привычку, что один раз, когда ему не на кого было мигнуть, то он долго осматривался и, наконец, мигнул на висевший на стене образ. В то же время это человек до высочайшей степени гуманный (я право не знаю, как выразиться иначе)—он готов для всякого сделать все, что может, он одинаково обращается со всеми, и с губернатором, когда тот бы-

---

[1]) Августа Павловна Созанович, воспитанница М. И. Муравьева-Апостола.

[2]) Иван Иванович Пущин.

[3]) Дело на Черной речке в Крыму имело место 4 августа 1855 г.

[4]) Тизенгаузену в 1853 г. разрешено было вернуться в Россию и жить в Нарве со своим семейством.

[5]) И. Д. Якушкин в 1854 г. получил разрешение жить временно в Иркутске, чтобы пользоваться советами тамошних врачей.

вает в Ялуторовске, и с мужиком, который у него служит, и с чиновниками, которые иногда посещают его. Никогда он не возвысит голоса более с одним, чем с другим. Он переписывается со всеми частями Сибири и, когда надо что нибудь узнать или сделать, то обращаются, обыкновенно, к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я думаю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича, хоть по имени. Он один из немногих, отзывающихся с полным уважением о деле, за которое они живут в Сибири, и не делающих в этом отношении ни малейшей уступки; я даже не удивился бы ежели бы он, возвратясь в Россию—завел, как он называет, маленькое общество. Казалось бы, что сосланные в Сибирь и прожившие в ссылке 30 лет должны бы ставить на пьедестал то дело, за которое они столько лет страдают,—ничуть не бывало. Большая часть из них смотрят на это дело совсем не так и ставят его даже ниже, чем оно должно стоять,—правда, что большая часть ударилась в мистицизм и поэтому прежние понятия не совсем сходятся у них с новыми. Но даже и те, которые проповедуют теперь самодержавие и православие, не могут совершенно отделаться от прежних убеждений, и они иногда невольно высказываются у них.

Басаргин—человек тоже лет 59, человек весьма сурьезный и положительный — убеждений у него, собственно говоря, кажется, нет никаких, (т.-е. политических убеждений), он даже в настоящее время слишком труслив, чтобы высказывать свои убеждения, ежели бы они и были у него, а уж кажется и бояться нечего: что он ни проповедуй—дальше Сибири не сошлют. Он, разумеется, говорит, что общество их было ничего больше, как ребяческая затея, а, между тем, как-то раз признался, что он никогда не был так счастлив, как во время существования Южного общества, и что ему и теперь приятно вспоминать о нем. Поди, разбери человека. Басаргин, человек очень приятный и очень умный; но у него какой-то сухой ум. Оболенский—предводитель войск на площади 14 декабря и мой тезка—(меня назвали в его честь Евгеньем)—человек чрезвычайно странный. Он хочет уверить себя и других, что он с головы до ног православный и самый ревностный поклонник самодержавия и особенно Николая Павловича,—кроме этого он имеет свойство

Пикулина, защищать свое мнение так, что слушая его, другие убеждаются в совершенно противном. Поэтому, разговор с ним бывает иногда чрезвычайно забавен. Зато он олицетворенная доброта и его никак нельзя не любить. Разумеется, Пущин беспрестанно мигает на него и ему достается в Ялуторовске ото всех. Муравьев—был, говорят, когда-то чрезвычайно веселый человек и большой остряк. Смерть двух братьев, Ипполита и Сергея, страшно подействовала на него — он редко бывает весел; иногда за бутылкой вина случается ему развеселиться, и тогда разговор его бывает забавен и очень остер. Он воспитывался за границей, в Россию приехал лет 18-ти, до сих [пор] не совсем легко говорит по русски, вежлив совершенно как француз, да и видом похож на французского отставного офицера; между тем он самый ярый патриот из всех ялуторовских. Я редко заговаривал с ним о прошедшем, всегда боялся навести его на тяжелый разговор про братьев, но когда бывало Оболенский, защищая самодержавие, не совсем почтительно отзывался об Обществе, то Матвей Иванович распушит его так, что тот замолчит, несмотря на то, что охоч спорить. Про Ентальцеву говорить много нечего—она очень добрая женщина, неопределенных лет (однако же за 60), любит молодиться и скрывает, что носит парик. Остальное женское общество в Ялуторовске состоит из жены Муравьева Марии Константиновны—малороссианки, как я уже сказал—большой моей приятельницы,—жены Басаргина, тоже очень простой и доброй женщины, и жены Оболенского, во всех отношениях простой, но тоже доброй. Одна беда, что Оболенский всегда с большими претензиями за нее и беда, ежели ему покажется, что не обращаешь на нее должного внимания.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Когда я пообедал, вдруг из другой комнаты голос: „что же вы не даете чаю Евгению Ивановичу?“. Это был голос известной тебе и всей Сибири Матрены Михеевны Мешалкиной. Она, бедная, уже несколько месяцев лежала в параличе и потеряла зрение. В прошлый приезд она наливала мне обыкновенно после обеда чай—и теперь вспомнила об этом. Я пошел к ней поздороваться и не узнал бы ее, до такой степени она похудела. Скоро пришел к Пущину Басаргин, и мы отправились вместе к Оболен-

скому, который праздновал в этот день именины сестры [1]. Разумеется, он мне очень обрадовался,—ты спросишь отчего, разумеется: оттого, что он очень полюбил меня в первый мой приезд. Через несколько времени приехал и Матвей Иванович. Меня, конечно, усадили играть в карты,—тут уже отказаться не было никакой возможности, потом подали наливку, от которой, как ты сама догадаешься, я тоже не отказывался. Мы разошлись часу во 2-м и уговорились обедать на другой день у Пущина. На другой день Пущин разбудил меня часов в 7. Ночью часа в 3 приехала в Ялуторовск Марья Н[иколаевна] Волконская и хотела меня видеть. Я отнес к ней письмо от дочери [2]) и думал, что она будет меня расспрашивать об ней, но она ничего не спросила об ней, только уже перед самым отъездом спросила про здоровье Молчанова. Впрочем понятно, что разговор о дочери с человеком, которого она видела в 1-й раз, не мог быть ей приятен. О сентенции военно-судной комиссии она узнала еще в Томске, но о содержании Молчанова в остроге ей не писали. И того, что она знала, было довольно, чтобы уничтожить самого крепкого человека, и она действительно была жалка. Сначала она хотела пробыть день в Ялуторовске, потом хотела остаться только до обеда, но, наконец, часов в десять просила, чтобы ей привели почтовых лошадей, потому что, как говорила она, она не может оставаться в таком тревожном положении и спокойна только тогда, когда сидит в карете.

К обеду все собрались у Ивана Ивановича, вечером были у Басаргина, где, кроме нас, было еще 5 человек сосланных на поселение поляков, двое из них кончили курс в Московском университете,—вообще, из Московского университета поляков в Сибири много. Один из моих товарищей—Граховский тоже недавно прислан в Сибирь в заводскую каторжную работу, но его я не мог видеть. Все ялуторовские поляки сосланы за основанное в Варшаве в 1848 г. общество, которое не имело никакого собственно политического характера. Так как за границей печатается много книг на польском языке, разумеется большей частью запрещаемых

---

[1]) 26 августа были именины любимой сестры Е. П. Оболенского—Наташи.

[2]) Елена Сергеевна замужем за Молчановым, против которого иркутским купцом Занодворовым было возбуждено обвинение в получении взятки. Молчанов состоял чиновником особых поручений при Н. Н. Муравьеве.

цензурою в Польше, то несколько человек согласились сложиться и выписывать эти книги из-за границы и передавать их друг другу. Мало-по-малу охотников набралось много и между охотниками нашелся человек, который и донес об этом. Их схватили, судили и заперли по крепостям; наконец, с открытием нынешней войны, чтобы очистить крепости, их сослали в Сибирь: некоторых в каторжные работы, а некоторых на поселение. Между подсудимыми был один молодой человек, лет девятнадцати, который нисколько не участвовал в передаче запрещенных книг и даже не знал об ней. Судная комиссия его оправдала, но так как он был знаком с некоторыми из осужденных, то она и приговорила его отдать под тайный надзор полиции. Ридигер под этим приговором подписал: „согласен отдать под надзор полиции, но только в Иркутске". Поляки в Ялуторовске живут в крайней нужде: один из них нашел место учителя за 3 рубля серебром в месяц.

Разумеется, у Басаргина меня опять усадили в карты и разошлись все очень поздно. На другой день утром я решился сделать нападение на Пущина, Басаргина и Оболенского: первый мог сообщить много любопытного о Пушкине, с которым был вместе в лицее и был очень дружен после; от второго я мог узнать некоторые подробности о Пестеле, так как он жил в последнее время в Тульчине, третий был коротко знаком с Рылеевым. С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно, я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым.—„Послушайте, что же я буду писать",—перебил он меня,—„кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?" —Как-кого? я думаю всех; вы Пушкина знали в лицее, знали его после до 26 года,—он был с вами дружен и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать.—„Да, ежели бы я мог написать что-нибудь интересное—я бы и написал, но во 1-х, я не умею писать, хоть Пушкин и уверял всегда, что у меня большой литературный талант, да я, слава богу, ему не поверил, и хорошо сделал, потому что точно не умею писать, а во 2-х, я могу сообщить только такие мелкие подробности, которые никого не могут интере-

совать, а писать для того, чтобы все знали, что я был знаком с Пушкиным, согласитесь сами, было бы очень смешно".—Так вы просто скажите: я не хочу писать, потому что я самолюбив; но согласитесь сами, что как бы ни были мелки подробности, которые вы можете рассказать, они все-таки будут интересны уже потому, что будут рассказаны о Пушкине; да иногда случай вовсе незначительный обрисовывает совершенно характер человека, и вы, хоть побожитесь, так я вам не поверю, чтобы вы не могли рассказать ни одного подобного случая.

„Ну, а есть и такие вещи, которых я, как товарищ, не хотел бы рассказывать про Пушкина. Например, я помню мы были раз вместе в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов все вертелся около Волконского и Киселева, как собаченка какая нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: „что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить—ведь над тобой все смеются!"—Он совершенно растерялся, а в следующий антракт опять то же. Это рассказывать, разумеется, мне, не весело, а сношения мои с ним—для кого любопытны? Ну что ж, я бы мог описать мою поездку к нему в деревню в 1825 г. Как я заехал в Опочку поздно вечером—целый час стучался в каком то погребке, чтобы купить несколько бутылок шампанского,—нельзя же было приехать к Пушкину без вина. Ну, разумеется, он мне был ужасно рад, только на другой день утром мы сидим с ним, разговариваем, вдруг Пушкин вскакивает, бросается к столу и развертывает книгу.—Я смотрю—что за книга? Библия. „Что с тобой, Пушкин?"—Архимандрит едет.—Он был сослан в деревню и отдан под присмотр архимандриту. Архимандрит узнал, что к Пушкину кто-то приехал, и, по обязанности своей, явился узнать, кто такой. Ну, что же это для вас любопытно?"—Разумется любопытно.—„Для вас то, может быть, потому что вы меня знаете".—Да и для всех любопытно.—„Ну, хорошо, я для вас напишу все, что припомню".—Даете слово?—„Даю и приготовлю к вашему возвращению". Итак одно дело было сделано.

Я пошел к Басаргину, но тут узнал мало. Узнал только, что Пестель был невысокого роста, черноволос, с черными вырази-

тельными глазами, с постоянно насмешливой улыбкой на губах. По словам Басаргина, он действовал с полным убеждением и был совершенно предан делу, но увлечения в нем не было не малейшего. Когда он хотел убедить кого-нибудь, то никогда не доказывал своей мысли прямо, а разговором, вопросами своими доводил другого до того, что тот сам высказывал, наконец, эту мысль, как свою собственную. Впрочем, это я слышал и не от одного Басаргина. Потом я отправился к Оболенскому, хотя это было и воскресенье и обедня давно началась. Но так как я сказал ему накануне, что приду к нему утром, то он был дома и не пошел совсем в этот день к обедне. Оболенского надо было навести на разговор о Рылееве осторожно—ежели приступить прямо, то он скажет, что это все пустяки и начнет восхвалять Николая,—надо было сначала, как говорит отец, „взвинтить“ его. Слабая струна его 14-е декабря; я знал это еще по разговорам с ним в первый мой приезд и поэтому начал прямо с 14-го, и именно с того, что про общество и про историю их в России мало знают верного и особенно про 14-е декабря ничего почти не знают.—Да, скажите, пожалуйста, Евгений Петрович,—прибавил я,—я слышал, что 14-го декабря вы ранили Милорадовича, в донесении этого нет.—„В донесении все наврано,—отвечал он с жаром,—видите ли как это было: я стою на площади впереди с застрельщиками; вдруг Милорадович едет к нам и хочет говорить солдатам. Я кричу ему: „Ваше Сиятельство, я не могу вам позволить говорить“. Он не слушает меня и подъезжает ближе. Я опять ему закричал: „ради бога, уезжайте отсюда“.—Но он меня не послушал и начал было говорить, тогда я кинулся к нему и ударил его штыком в бок, лошадь в это время поворотила и поскакала, он упал к ней на шею. Я не слыхал выстрела и не знаю, когда выстрелил в него Каховский, но очень хорошо видел, что ранил Милорадовича, потому что когда ударил его штыком, то сквозь мундир показалась рубашка и кровь. Отчего этого в донесении нет, я не знаю, потому что это есть в моих показаниях. Я, разумеется, не мог позволить Милорадовичу уговаривать солдат, но одного я тут не понимаю: я на него кинулся с какою то яростью—за минуту перед этим и все время после я был совершенно спокоен. Это меня убеждает вполне, что на человека действуют темные

силы“. —Помилуйте, какие тут темные силы, просто пришло время действовать,—так, разумеется, тут явилось увлечение.—Оболенский стал на это возражать.—Ну,—подумал я,—все дело погибло, коль зашла речь о темных силах, — но сделал еще попытку.—Скажите, пожалуйста, Евгений Петрович, за что вас не любил так Николай Павлович?—„А вот видите ли, я был адъютантом у начальника гвардейской пехоты Бистрома и заведывал канцеляриею, а он был дивизионным командиром, ну и, разумеется, делал у себя, что хотел. Когда я вступил в должность, то и устроил так, что все дивизионные должны были доносить о своих дивизиях и не могли ничего делать без разрешения начальника гвардейской пехоты. За беспорядки делались выговоры,—а так как у Николая Павловича было много беспорядков, то ему делались часто выговоры. Разумеется, он знал, что это выходит все через меня—ну, это против меня его и восстановило, так что он и императором не мог этого забыть. Вот видите ли, когда меня привели во дворец...“—Вас как взяли, так и привели туда?—„Меня взяли 15-го утром и посадили на гауптвахту в Зимнем дворце;—утром же пришел туда Михаил Павлович, посмотрел на меня и закричал дежурному офицеру:—„Этому мерзавцу связать назад руки веревками“. Мне связали руки, потом перед вечером повели меня во дворец“.—С завязанными руками?—„С завязанными так я и оставался, пока меня не перевезли в крепость. Привели меня в одну из зал Зимнего дворца, тут опять подошел ко мне Михаил Павлович, положил мне руку на плечо и сказал. „Кто бы мог ожидать этого от такого отличного офицера? Оболенский, что это с тобой сделалось? Что ты сделал?“.—Я исполнял долг свой, в. в.,—отвечал я ему. Он повернулся и ушел. В залу вошел Николай Павлович. Он подошел прямо ко мне со словами: „Вот он хваленый офицер“. Потом обратился с Левашеву, и показывая на меня, сказал: „Один бог знает, сколько я от него терпел“. В это время ввели в залу Ал. Бестужева и доложили Николаю Павловичу, что он явился сам с повинной. Николай Павлович опять обратился ко мне и сказал: „А ты, негодяй, и этого не умел сделать“. Вслед за этими словами он махнул рукой, меня вывели и увезли в крепость“.—Скажите, пожалуйста, Рылеева не было на площади?—„Нет, сначала он был, потом ушел и не возвращался.

Почему он ушел, это для меня до сих пор остается тайною. Этот человек был предан душою делу, он только для него и жил,—он был замечательный человек, я был с ним очень дружен, уважал и любил его. Да и теперь люблю о нем вспоминать. В последнее время мы с ним часто видались; надо вам сказать, что за несколько месяцев до 14-го мои прежние убеждения начали уже колебаться. У меня явилось сомнение: хоть мы и убеждены, что стремимся к добру, но в праве ли мы насильно навязывать это добро народу. Ежели бы мы были выборные от народа—это было бы другое дело, но народ нас ни на что не уполномочил. Об этом мы обыкновенно и спорили с Рылеевым,—он доказывал, что это не только наше право, но и наша обязанность. Обыкновенно он приходил ко мне вечером — в последний раз он был у меня 13-го; уже решено было на другой день действовать — тут же был и Ф. Глинка; я помню, он спросил у меня: сделали ли мы какие нибудь распоряжения, чтобы овладеть крепостью,—я отвечал, что нет,—он настаивал в том, что это необходимо—и точно—Глинка был прав,—ежели бы мы заняли крепость, 14-е могло бы кончиться совсем на так, как оно кончилось".

— У меня есть до вас просьба, Евгений Петрович. Вы сами говорите, что Рылеев был замечательный человек—вы знаете, что об нем, кроме близких ему людей, никто почти ничего не знает. Что вам стоит записать об нем все, что вы припомните? Я на это смотрю, как на вашу обязанность, — никто, может быть, не был к нему ближе, чем вы, последние его слова уже в каземате были обращены к Вам (действительно, Рылеев прислал перед казнью два стихотворения Оболенскому), кому же, как не вам заботиться, чтобы о нем сохранилась память. — Оболенский обещался мне написать об Рылееве; не знаю, сдержит ли он свое обещание [1]), впрочем, надеюсь, что не обманет.

В этот день мы все обедали у Муравьева. Разумеется, разговор большей частью вертелся около военных дел. Вспомнили, между прочим, о георгиевских крестах, данных великим

---

[1]) Оболенский сдержал обещание: эти воспоминания были напечатаны в I томе „Девятнадцатого века". Подлинник хранится в архиве Якушкиных.

князьям за то, что около них пролетела бомба, между тем как тут были сотни людей, которые каждый день бывали под выстрелами и даже были ранены, а все таки остались без георгиевских крестов. Я напомнил, что и Николай Павлович надел на себя георгиевский крест за 25 лет службы. Оболенский вступился за Николая Павловича: „Он имел полное право надеть этот крест,—сказал он,—потому что точно прослужил России 25 лет".—Хорошо служил,—заметил Басаргин.—Об России он не заботился, заботился он только о войске, а как открылась война, так у нас нет ни генералов, ни войска, ни флота. Нечего сказать, хороша служба.—„Да ведь я тебе и не говорю, что он хорошо служил,—отвечал Оболенский,—а все таки служил". Вот тебе образчик того, каким образом защищает свое мнение Оболенский. И после обеда и вечером для Оболенского был сделан бенефис, т. е. все это время проиграли в карты. Из письма этого ты видишь, что я много играл в карты и можешь подумать, что я проигрался в пух. Успокойся: я ничего не проиграл.

После этого мы все обедали у Ентальцевой—вечер я просидел с Пущиным—разумеется, разговор большой частью шел о войне. „Успеха нечего ждать,—сказал Ив. Ив.,—но и неуспех будет нам полезнее самого блестящего успеха, ежели он откроет нам, наконец, глаза". Утром на другой день Басаргин, Оболенский, Муравьев и я ездили осматривать купленную двумя первыми мельницу на Тоболе, верстах в 7-ми от Ялуторовска. Управление принадлежит Басаргину, который и не позволяет мешаться в это дело Оболенскому и хорошо делает, потому что тот беспрестанно составляет самые неудобоисполнимые проекты, между которыми занимает не последнее место проект железной дороги от мельницы к Ялуторовску.

В этот день я обедал у Оболенского; разумеется, тут были и все, потому что после обеда я должен был ехать. Я не знал заехать ли в Тобольск из Ялуторовска или на обратном пути; заехать во всяком случае было необходимо; как в самом деле не сделать каких нибудь 260 лишних верст (по сибирской езде это совершенно пустяки), чтобы увидаться с хорошими знакомыми, с которыми, может быть, не придется более никогда увидеться. Наконец, я решился заехать теперь—тем более, что

Пушкин [1]) уже давно ждал меня и несколько раз писал, чтобы меня уговорили поскорее к ним приехать. Вечером, напившись чаю, я простился со всеми у Ивана Ивановича и отправился в Тобольск.

От Ялуторовска до Тобольска менее суток езды; на другой день вечером я уже был там и приехал, конечно, прямо к Свистунову. Он и Пушкин очень мне обрадовались— я уже тебе не раз говорил, что Свистунов большой охотник поспорить, поэтому я для него был совершенная находка, а Пушкину необходимо было переговорить со мной о делах Фон-Визиной. В Тобольск сосланы: два брата Пушкины (Бобрищевы), Свистунов, Анненков, Штейнгель и Башмаков. Пушкина и Свистунова мы с отцом не называем иначе, как Тобольскими раскольниками: они так же, как и Оболенский, выдают себя за православных, но собственно говоря православного в них ничего нет, потому что, какие ни стараются они делать натяжки, чтобы примирить свои убеждения с православием, этого сделать им все таки не удается—и они более православные на словах, чем на деле. Прежде эти люди проповедывали атеизм, некоторые из них „обратились", как они говорят, во время содержания в крепости, но дело в том, что и атеизм они проповедывали, тогда так же, как теперь проповедуют православие, т. е. больше на словах. Содержание в крепости подействовало на воображение некоторых до такой степени, что им были видения. Обращение других произошло уже в Сибири на поселении и тоже чрезвычайно понятно. Когда человек, сколько нибудь образованный и сколько нибудь умный, устанет думать, а между тем ему надо иметь какую нибудь точку опоры, он приходит непременно к мистицизму,—ищет опоры в религии. Свистунов рассказывал мне, как он обратился. По окончании срока каторжной работы он был сослан на поселение, где должен был жить совершенно один [2]), вместе с ним не был никто поселен. Сначала еще он жил кое-как, но мало по малу жизнь ему стала чрезвычайно тяжела, не с кем было перемолвить слова, читать было нечего, делать тоже нечего. Он делался

---

[1]) Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, декабрист.

[2]) Свистунов в 1836 г. был поселен в селе Идинском Иркутской губ.; там он прожил несколько месяцев, а потом был переведен в Курган.

все мрачнее и мрачнее; не имея никакой веры в будущее, он завидовал тем, у которых есть религиозная вера—и, как говорил сам, старался даже поверить, наконец поверил, стал молиться, и ему сделалось очень легко. Он разумеется уверяет, что на него сошла благодать божия. Но дело объясняется гораздо проще и именно тем, что, закинутый судьбою в глушь, он опустился, а между тем точка опоры была ему нужнее, чем когда нибудь; он искал ее вне себя и, разумеется, не мог опереться на религию тотчас. Это бывает и не при таких вопросах, иногда случается захочешь уверить себя в какой нибудь мысли и кончается тем, что уверишься, хоть к этому нет никакого основания. В драме „Коварство и Любовь“ (ежели не ошибаюсь) герой говорит героине „Ежели ты меня не любишь,—то обмани меня—скажи, что меня любишь“. И это чрезвычайно верно, потому что человек сам себе лжет иногда без всякой меры. Да,—какого лучше примера?—Наталья Дмитриевна,[1]) слышавшая всегда о своих детях, что они дрянь, уверяла же себя, что они были прекрасные люди и даже социалисты. Любить ей было необходимо, а нельзя же любить дрянь—она и создала для себя призрак, в котором сначала, вероятно, и сама не была уверена. Впрочем, все это так просто, что об этом не стоит и говорить.

Совершенная противоположность Пушкина и Свистунова Анненков (отец О. И. Ивановой) [2]). Упасть духом он мог бы скорее всякого другого, но его спасла жена, не уступающая в веселости Мартину Чедзльвиту [3]),—как бы не были стеснены обстоятельства она смеется и поневоле поддерживает бодрость в других. Историю ее ты, конечно, знаешь, хоть из Memoires d'un maître d'armes—Дюма, который, впрочем, переврал все до невероятности. Прасковья Егоровна [4]) (жена Анненкова),

---

[1]) Н. Д. Фон-Визина, жена декабриста Фон-Визина. У них в России оставались два сына на попечении брата декабриста—Ив Ал. Фон-Визина.

[2]) Старшая дочь И. А. Анненкова — Ольга; вышла замуж за военного инженера Конст. Ив. Иванова, который в 1848—54 г.г. служил в Зап. Сибири. В 1854 г. Ивановы жили в Петербурге.

[3]) Роман Диккенса—„Жизнь и приключения М. Чедзльвита“. Веселостью отличался не Мартин Чедзльвит, а слуга и товарищ его Марк.

[4]) Рожденная Гёбль.

француженка, приехавшая в Петербург в 20-х годах. Анненков был с нею (употребляя твое выражение) в дружбе. Она чрезвычайно любила его и когда его взяли и посадили в крепость, то она была в совершенном отчаянии, как бы и настоящая жена. Она стала приискивать средства освободить его из крепости и дать ему возможность бежать за границу — все, что было у ней,—продала, но денег все таки было мало, чтобы исполнить это намерение; тогда она обратилась к матери Анненкова с просьбой помочь ей в этом, но та, из скупости или в самом деле так думала, отвечала ей, что человек носящий фамилию Анненковых, не может и не должен спасаться бегством. Вероятнее, впрочем, что ответ этот она дала из скупости, при том же она и не очень любила сына. Как бы то ни было, только надежда спасти Анненкова из крепости рушилась. Когда его сослали в Сибирь, Прасковья Егоровна решилась ехать к нему, но для этого надо было позволенье императора, который в это время был на Вознесенских маневрах,—она отправилась туда, долго не могла увидеть его, наконец ей удалось как-то подать ему просьбу о дозволении ехать в Сибирь к Анненкову.— „Какое право имеете проситься в Сибирь к Анненкову,—спросил он ее—разве вы ему жена?“ —Нет, отвечала она, я не жена его, но я мать его детей.—Николай Павлович позволил ей ехать. В Сибири Анненков женился на ней и хорошо сделал, потому что без нее бы с своим характером совершенно погиб. Его вечно все тревожит, и он никогда ни на что не может решиться. Когда они были на поселении, не раз случалось ей отправляться ночью с фонарем осматривать—не забрались ли на двор воры, когда муж очень тревожился громким лаем собак. Один раз ночью воры действительно залезли к ним в дом. Анненков совершенно растерялся, но она нисколько, „Сергей! Иван! Григорий!—закричала она:—ступайте сюда скорей, да возьмите с собой ружья—к нам кто-то забрался в дом!“—Воры, услышавши такое громкое и решительное приказание, бросились бежать, а между тем ни Сергея, ни Григория, ни Ивана никогда не было у Анненковых—не говоря уже о ружьях—у них жила в это время одна только кухарка. Прасковья Егоровна до сих пор чрезвычайно жива и беспрестанно подтрунивает над нерешительностью мужа и над его жалобами на судьбу.

Штейнгель, человек лет 75 (Анненкову и Свистунову лет по 50, а Пушкину лет 58). Его не увидишь иначе, так в театральной позе, а иногда даже увидишь и с послушной слезой на глазах. Он много видел на своем свете, изъездил Сибирь вдоль и поперег, знает всю историю ее управления в последние 50 лет и поэтому рассказы его чрезвычайно были бы интересны, ежели бы не требовали очень строгой критики. Никто не передовал таких любопытных подробностей о 14-м декабря, но многие из этих подробностей оказались совершенно неверными.

Башмаков—никогда не принадлежавший к обществу, сослан, кажется, за то, что был в Черниговском полку в 1825 г. и жил у Сергея Муравьева—убеждений у него никаких нет, да и никогда не было, он старый служака и больше ничего. Ему теперь за 80 лет, он делал итальянскую кампанию 1799 г. и все последующие кампании до 1825 г. Военные рассказы его очень интересны, но уже кроме как о его походах нельзя с ним ни об чем говорить.

Кроме этих лиц в Тобольск сослан брат Пушкина-Бобрищева—он сумасшедший уже лет 20, и я его не видал ни в первый мой приезд, ни теперь. Мне не совсем здоровилось и поэтому я пробыл в Тобольске два дня—спорам с Свистуновым и Пушкиным не было конца,—был возобновлен опять спор о религии, начатый тому полтора года. — Тебе, может быть, покажется странным, каким образом я мог так близко сойтись с Пушкиным и Свистуновым, людьми такими религиозными и имеющими претензию на православие? Еще может быть непонятнее, отчего они меня полюбили, но не воображай их, пожалуйста, чем нибудь вроде Варвары Петровны [1]) или Андр. Муравьева. Редко встретишь человека, который бы увлекся какою нибудь высокой мыслью, предался бы ей совершенно и потом опустился бы так, чтобы ни осталось никакого следа прежнего увлечения, чтобы он совершенно опошлился.

Свистунов и Пушкин, конечно, опустились против прежнего, но и прежнего осталось еще в них много—осталось даже еще много и увлечения. Свистунов, сосланный лет 19-ти или 20-ти, не имел даже, может быть, прежде ни того человечного взгляда,

---

[1]) Варвара Петровна Шереметева.

ни того увлечения, которое в нем есть теперь. Его образовало общее заключение (в Петровском заводе) со многими умными, развитыми и даже замечательными людьми. И от понятий, которые получил он там, он никогда не может отделаться, ни через какое обращение, хоть бы он перешел даже в магометанство,—понятия эти все таки останутся.

Выехав из Тобольска, я постарался наверстать потерянное время и ехал очень скоро. От Тобольска до Томска 1500 верст, я сделал их в 5 суток с половиной. От Тюкалинска я своротил на проселочную дорогу—это сократило несколько путь, а ехал я здесь на крестьянских лошадях точно так же скоро, как и на почтовых. В лошадях не было недостатка, всякий наперерыв вызывался везти по 5 коп. асс. на версту за пару. Я платил дороже, и меня везли чрезвычайно скоро; иногда в деревне не было ни одного мужика, время было рабочее (еще убирали хлеб)—лошадей закладывала баба, садилась на козлы и мчалась во весь опор. Экипажи тоже попадались разные—бывали и такие, что едва возможно сидеть, а бывали и такие длинные (из под снопов), что в них мог бы разлечься во всю длину любой тамбур-мажор.

Здесь насмотрелся я на крестьянское житье, разумеется, сколько можно было увидать его, останавливаясь на один или на два часа в деревне. Русский мужик и в раю не представляет себе такого житья. Около сибирских рек найдешь всегда отличную рыбу и за совершенный бесценок. Даже в Тобольске рыба очень дешева. Как то раз Анненков купил 75 стерлядей величиной от $1/2$ аршина до $3/4$ за 1 руб. сер. Дичь в деревнях тоже нипочем, к тому же я ехал во время самого перелета дичи и поэтому везде находил отличный обед. О хлебородии Западной Сибири и говорить нечего—сам Кетчер не стал бы спорить против этого, ежели бы увидел, как родится здесь пшеница на земле, не видавшей никогда удобрения.

Приехавши в Томск, я прямо отправился к Батенкову, у которого думал и прежде остановиться. Батенкова не было в городе, он был на заимке, дома я нашел Ольгу Павловну [1]), несколько тебе известную; мы очень обрадовались друг другу.

---

[1]) Ольга Павловна Лучшева. В семье Лучшевых жил Батенков.

Пообедавши, я пошел к Толю, с тем чтобы вечером ехать на заимку. Т[оля] я нашел совершенно больным и в меланхолии по случаю разных неприятностей жизни и в особенности финансовых. Не успел я пробыть у него полчаса, как за мной пришел человек от Батенкова,—он приехал в город и ждал меня у себя. Батенков собирался в этот же день уехать опать на заимку, но для меня хотел остаться в городе,—мне же этого совсем не хотелось: в городе к нему приходило бы много народу и в этой суматохе не удалось бы с ним и поговорить. Поэтому я предложил ехать ночевать на Соломенное (или в Соломенный дворец, как называет свою заимку Батенков). Батенков на это охотно согласился, и мы решили отправиться туда после чаю и возратиться в город на другой день утром. Соломенное верстах в трех от города, оно расположено на очень красивом месте и состоит из небольшого дома в 5 комнат, очень маленького сада и нескольких не очень изящных хозяйственных построек. Зимой Соломенное до такой степени заносит снегом, что к нему бывает трудно подъехать. Батенков от времени до времени приезжает сюда из города и живет здесь по неделе или по две, чтобы отдохнуть от городского шума, и я понимаю, что ему действительно бывает необходим подобный отдых: когда он в городе, то он почти не живет дома—целый день ходит он по своим знакомым, ежели же по какому нибудь случаю он остается дома, то к нему набирается целая толпа знакомых, словом—он ведет в городе жизнь до такой степени рассеянную (и это вошло уже у него в обычай), что ему нет времени и прочесть что нибудь. Приехавши в Соломенное, я пошел в баню (или, как говорят в Сибири барыни и барышни, „в маскарад“) и потом сел за вторичный чай. За чаем зашел у нас разговор про различные толки о войне. Я, разумеется, не упустил случая рассказать о Варваре Петровне [1]), которая говорила по случаю высадки в Крым, что „подлецы англичане и французы неизвестно для чего пришли в Крым; совсем не их, кажется, страна, только государя беспокоют“.— „А у нас то в Томске,—сказал Батенков,—патриоты так разбушевались, что мне житья от них не было. Когда англичане и

[1]) Шереметевой.

французы появились в Балтийском море, то все почти говорили, что теперь их флот не уйдет—его сожгут и мы пойдем воевать в Англию. А когда высадились в Крыму, то такая радость была, что и описать невозможно. Чем бы ни кончилась война,—прибавил Б[атенков],—она должна принести нам пользу; переворот и у нас, и везде неизбежен. В этом убеждают все события последних лет. В наше время человек уже почти совершенно овладел физической природой—он уничтожил почти и расстояние и время—ему должно теперь овладеть также и миром духовным. Посмотрите, как двинулись физические науки и сколько приложений, а между тем, область психологии почти и не тронута. На эту духовную почву должны перейти работы человеческого ума, действуя на этой почве, человек придет к познанию бога; и тогда должны будут разрешиться и все политические задачи. Возьмемте, например, наше управление: оно все основано на обмане, но ежели человек придет к познанию бога, тогда обман будет невозможен. Никому уже нельзя будет сказать: я поставлен над вами от бога; всякий скажет, что это вздор и что бог никого ни над кем не ставил".

Скоро разговор перешел на 1825 год.—„Я сам не принадлежал к тайному обществу,—сказал Батенков,—но вполне признаю его пользу—у нас не было и нет до настоящего времени общения,—общество дало связь и силу отдельным лицам. Общения нет и теперь—и вот вам пример: в России есть много людей, которые нам вполне сочувствуют и даже готовы выказать это сочувствие; знают также или, по крайней мере, предполагают, что между нами есть такие лица, которые не имеют почти никаких средств существования, и многие готовы бы были помочь им, а, между тем, никто не помогает. Согласитесь, что этого не могло бы быть ни во Франции, ни в Германии. Вы понимаете, что об себе здесь нисколько не думаю, потому что имею средства жить даже роскошно, но вы знаете, что у нас много таких, которые только что не умирают с голоду и то благодаря дешевизне сибирской жизни. Этот недостаток общения и во всем. В двадцатых годах общество имело важное значение тем, что члены его и лица, одномыслящие с ними, должны были занять главные места в управлении. Никто и не хотел оспаривать

у нас этих мест, да никто и не мог оспаривать; еще несколько лет, и все управление было бы у нас в руках. Тогда бы и Николай Павлович не мог нас согнуть так, как он гнул всех в продолжении 30 лет, потому что мы представляли бы действительную власть. Теперь итти этим путем уже невозможно, уже нельзя овладеть управлением так легко, как в наше время. Теперь может быть только одно средство и есть—пропаганда".

Потом разговор перешел на 20-летнее содержание Батенкова в крепости.

— Скажите, пожалуйста, Гаврило Степанович, что—содержание ваше в крепости было следствием каких-нибудь особых причин или нет? Может быть они хотели от вас что нибудь выпытать, или держали вас так долго только за ваши ответы и письма?

— „Особых причин я никаких не знаю, а, вероятно, они не хотели выпустить меня за мои ответы, ну а потом и за письма.— Через год и через два года я спрашивал себе перо и бумаги и писал письмо на имя Николая Павловича. Эти письма ужасно его раздражали. Некоторые письма свои я помню от слова до слова. Раз я к нему написал: „Было время, в Москве стоял на площади болван, да приезжал из орды баскак — в том и состоял весь адрес-календарь, оба его тома. Баскак заставлял всех болвану кланяться. Теперь баскака нет, а кланяться все заставляют. Надо же это когда нибудь кончить". В другой раз я писал: „Меня держат в крепости за оскорбление царского величия. Есть ли в этом какой нибудь смысл? Ну как я могу оскорбить царское величие? У царя огромный флот, многочисленная армия, множество крепостей, как же я могу его оскорбить? ведь я не могу ничем ни флота уничтожить, ни армии истребить, как же может пострадать от меня царское величие? Я бы хотел, чтобы мне это объяснили. Ну что, ежели я скажу — Николай Павлович — свинья (он поместил тут одно выражение еще сильнее)—это сильно оскорбит царское величие?" Еще я помню раз описывал я Николаю Павловичу, как он могуществен. Сначала я представил ему его военную силу, потом власть его во всем государстве, такую власть, что ему стоит сказать только слово, чтобы все было исполнено по его воле. Эту картину его могущества я заключил стихами

Богдановича. (Стихов этих я наизусть не помню, смысл их тот, что все это вздор). А другое письмо я кончил стихами:

И на мишурных тронах
Царьки картонные сидят"

— И письма эти доходили по назначению?—спросил я.

— „Доходили. Это я знаю потому, что после всякого письма крепостное начальство приходило в ужасное волнение и меня держали некоторое время гораздо строже, ну а потом через месяц или через два опять сделаются ласковы, иногда даже и конфет принесут или другое какое-нибудь лакомство.—Я помню после одного из таких писем меня стали очень строго содержать, я потребовал опять чернил и бумаги и написал: „Всякая строгость со мной безрассудна и не выгодна для вас самих: не забывайте, что вы держите меня в крепости уже 15 лет и что вам некем меня заменить; помните, что у вас не может быть кандидата на мое место—с такими условиями". Письмо это должно быть подействовало, потому что все строгости тотчас же были отменены. Письма мои, вероятно, были также причиной и тому, что меня выпустили из крепости. Николай Павлович был уверен, что я сошел с ума—и что подобных писем, как последние, я не мог писать в здравом рассудке".

— Вы хотели писать записки; начали вы или отложили в долгий ящик?—спросил я у Батенкова.

— „И не начал и не начну. Писать может только тот, кто уверен, что его бумаги сохранятся, а у нас кто может быть в этом уверен? Фамильных архивов у нас нет, а у себя держать бумаг нельзя; завтра же могут придти и забрать все. Я уже думал как это устроить: самое лучшее средство положить бумаги где нибудь в монастырь или в церковь, потому что за попов можно поручиться, что они читать не станут, и стало быть не узнают, что у них за бумаги, но нельзя поручиться, что бумаги не уничтожатся. Как же при таких обстоятельствах писать?

А многое бы следовало записать. Например, о Сперанском и Аракчееве скоро не будут ничего знать,—уже и теперь их не понимают [1]). Так об Аракчееве думают, что он был необыкно-

---

[1]) Отзывы Г. С. Батенкова о Сперанском и Аракчееве были приведены В. Е. Якушкиным в его книжке „Сперанский и Аракчеев". С.П.Б. 1905 г.

венно как предан Александру, — никто теперь и не поверит, ежели сказать, что он ненавидел Александра, а он именно его ненавидел. Я вам это говорю, не как догадку или слух, а как факт, который мне хорошо известен, потому что Аракчеева я знал коротко. Павлу он был действительно предан, а Александра он ненавидел ото всей души и сблизился с ним из честолюбия. Он радовался, когда Александр принимал какие нибудь строгие меры, но радовался потому именно, что они навлекали на Александра нарекания и возбуждали против него неудовольствие.

Про Сперанского и говорить нечего—его и прежде, даже в наше время, немногие понимали—он шел слишком впереди своего времени. Я был у него в школе и всем обязан ему—даже и тем, что в Сибири. Его все считают честолюбивым человеком, между тем как в нем не было и тени честолюбия. Это мнение основано на его жизни, по возвращении из ссылки. Но забывают, что эта ссылка продолжалась и в Петербурге,—что ему нельзя уже было действовать — у него были по прежнему скованы руки, а потребность действовать была страшная—и, разумеется, он принужден был делать уступки.

Мне всегда досадно слышать, когда говорят, что Свод Законов составлен Сперанским; все забывают, что уже при Николае Павловиче Сперанского не было и быть он не мог,—было только его прежнее имя. В первый раз, как я увидел его, меня поразила определительность, с какою он говорил. Этого не встретишь у нас почти ни в ком: обыкновенно ставят слово, какое только попадется на язык, нисколько не думая о точном значении этого слова. Сперанский, напротив, строго определял и слова и мысль, которая в них заключалась. Он был человек с твердыми убеждениями и нисколько не жалевший себя для дела. За убеждения свои он готов был итти и в ссылку, и в каторжную работу, и на плаху. Он ничего бы не побоялся и, ежели вы видите в нем потом совсем другого человека,—то это не потому, что он действовал из страха, а потому что видел, что не может действовать, не сделав уступок. Врагов у него было много. Я помню, раз у меня был с ним разговор о возможности ссылки: „Ну что ж, наденут колодки и поведут,—сказал он.—Что за важная вещь колодки? да они всего стоят два с полтиной, чего ж их бояться?“

Вы, вероятно, знаете, что главной причиной гонения против него было то, что он попович; всех ужасно оскорбляло, что попович имеет такое влияние на государственные дела,—но вы, может быть, не знаете, какое уважение имели к его характеру и уму. Когда его вернули из Сибири, то к нему приехали тотчас же все посланники, весь дипломатический корпус. И точно, он был неизмеримо выше всех своих современников и по характеру и по уму. Сколько мучений должен он был вынести, когда рассматривали в Госуд. Совете проект уложения. Ежели по части законодательства есть его труд, так это не Свод Законов, а Уложение.

Помню, я раз дожидался у него его приезда. Он был в Госуд. Совете и приехал оттуда позднее обыкновенного и чрезвычайно весел. „Ух как сегодня я счастлив,—сказал он мне,—и представить нельзя. Вот уже сколько времени рассматривается Уложение [1]), а до сегодняшнего дня я не слыхал в Госуд. Совете почти ни от кого никакого мнения. Да и никак не мог добиться, чтобы они что нибудь сказали. Прочтешь параграф, спросишь мнения, а они все отвечают: „как вам угодно". Я и говорил им, что это закон для России, так дело не в том—угоден ли он мне, а в том—нужен ли он для государства, но меня никто и слушать не хочет, все отвечают: „как вам угодно!" Что ты будешь с ними делать? Сегодня я сказал им такой вздор, что со мной уже невозможно было и согласиться. Да уже и боялся я, чтобы они не сказали: „как вам угодно". Пропал бы я совсем, ежели-б они согласились: но, слава богу, заспорили. Может быть этот спор их расшевелит и на будущее время".

На другой день мы довольно рано вернулись в город. Батенков отправился путешествовать по разным знакомым, а я пошел к Толю. Толь—человек не глупый, образованный, много читавший. Он, как тебе, вероятно, известно, сослан по истории Петрашевского. Он был прежде в каторжной работе в одном из винокуренных заводов Западной Сибири [2]), года три тому назад его перевели на поселение. Он живет чрезвычайно бедно.

[1]) Приписка на полях карандашем рукой Е. И. Якушкина: „Батенков ошибся, Уложение рассматривалось раньше ссылки".

[2]) Керевском.

4

Прежде уроки давали ему некоторые средства существования, но разные притеснения, которым подвергались его ученики при вступлении в гимназию, и болезнь его лишили его и этого. Впрочем, не он один находится в таком положении, многие из сосланных только что не умирают с голоду. Ты знаешь в каком положении Достоевский, а таких, не получающих ничего из России, много.

Я увел Толя обедать к Батенкову, у которого мы и пробыли вместе до позднего вечера,—я было послал за лошадьми, но почтовых лошадей не было и я принужден был остаться до утра. Утром опять заговорился и выехал из Томска только перед обедом. Сначала дорога шла прескучная, но зато к Красноярску дорога так живописна, что я часто садился на козлы с ямщиком, чтобы любоваться представлявшимися видами,—от описания которых я тебя избавляю, потому что на это не мастер, а заставить читать плохое описание местности все равно, что резать тупым ножем.

В Красноярске я приехал прямо к Василию Львовичу Давыдову. Я не знал, можно ли у него мне поместиться—но так как решился остаться в Красноярске только несколько часов, то и не посовестился на это время стеснить его. Давыдов принял меня с распростертыми объятиями и объявил, что Серг. Григор. Волконский дожидается меня уже несколько дней, чтобы ехать вместе в Иркутск. Давыдов меня чрезвычайно поразил. Это был первый из виденных мною сосланных, который опустился совершенно и совершенно одряхлел. Это развалина во всех отношениях и в физическом и в духовном. Скоро пришел и Волконский—я подал ему письмо от дочери, в котором она извещала его о решении дела и о том, что Молчанова посадили в острог. Жалко было смотреть на старика, когда он прочел это письмо, некоторое время он не мог говорить от слез.

В тот же день через несколько часов мы выехали из Красноярска в Иркутск в каком то тяжелом, неуклюжем и беспокойном тарантасе, который я не знаю, где достал Серг. Григ. Волконский. Оттого ли, что тарантас этот был действительно более тряской, чем перекладная кибитка, или от тарантаса всегда более требушь—только я не раз вспоминал с сожалением о

езде на перекладной. Волконский, еще довольно бодрый старик, чрезвычайно похожий на портрет, который ты видела, с правильными чертами лица, но без особого выражения ума, и даже вообще выражения в лице немного. И в этом отношении лицо говорит совершенную правду—особенного ума у него действительно нет—хоть и вовсе нельзя его назвать глупым человеком или даже простым. А так себе — человек, каких встречаешь много, ежели не между стариками, так между молодыми, потому что с такими понятиями, как у него, стариков почти совсем нет. К дворянству у него ненависть такая, ежели не на деле, так на словах (и это в его годы редкость), что сделала бы честь любому республиканцу 93 года. Впрочем, в искренности его убеждений сомневаться нельзя. Он вступил в Общество, конечно, по убеждению, а не из каких нибудь видов: в 1813 г. он уже был генералом (ему было 24 года)—у него не было недостатка ни в надеждах на будущее, ни в средствах к жизни, ни в имени. Почти в одно и то же время он и М. Орлов женились на двух сестрах Раевских, дочерях известного генерала 1812 г. Ник. Ник. Раевского. Н. Н. Раевский, знавший, что оба они принадлежат к тайному обществу, требовал, чтобы они оставили его, ежели хотят жениться на его дочерях. М. Орлов согласился, но Волконский, страстно влюбленный в Раевскую, отказал на отрез, объявя, что убеждений своих он переменить не может и что он никогда от них не откажется. Партия была так выгодна, что Раевский не настаивал на своих требованиях и согласился на свадьбу. Этот брак, вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе. Любила ли когда нибудь Марья Николаевна, жена Волконского, своего мужа—это вопрос, который решить теперь трудно, но как бы то ни было она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, небольшой, ежели есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири, говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского. Чьи бы они не были, впрочем, дети, любовь старика

к ним—любовь, исполненная самоотвержения, дает ему на них полное право,—этого то кажется никто и не хотел признать в семье. Вся привязанность детей сосредоточивалась на матери, а мать смотрела с каким то пренебрежением на мужа, что, конечно, имело влияние и на отношение к нему детей. К несчастью всего этого семейства, судьба привела в Иркутск Молчанова—человека ограниченного и давно известного многими мерзостями и имевшего большое влияние на генерал-губернатора Н. Н. Муравьева и поэтому игравшего не последнюю роль в Иркутске. Тут опять молва обвиняет Марию Николаевну в таких гадостях, которых я и не хочу повторять. Скорее хлопоты ее устроить свадьбу Молчанова с дочерью можно объяснить тем, что она не считала его дурным человеком и надеялась, что он будет полезен сыну ее по службе. Впрочем, ее предупреждали, что Молчанов не составит счастья ее дочери—объясняли ей, что он за человек, и сам Волконский сказал решительно, что он не согласится на эту свадьбу. Все было напрасно. Мария Николаевна не хотела никого слушать и сказала приятелям Волконского, что ежели он не согласится, то она объяснит ему, что он не имеет никакого права запрещать, потому что не он отец ее дочери. Хотя до этого дело не дошло, но старик, наконец, уступил. Что Молчанов был обвинен во взятках и судится теперь в Москве—это ты знаешь.

2.

9 дек.

Много времени прошло с тех пор, как я перестал записывать свои сибирские впечатления, которые ты уже должна прочесть теперь в моем длинном письме. Письмо это обещались доставить тебе в начале декабря, и думаю уже доставили.

Я остановился на поездке моей в Иркутск с Волконским. Волконский ужасно спешил, кричал на ямщиков, бранился с смотрителями, словом: вел себя вовсе не демократом,—но от привычек отделаться труднее, чем от русских quasi аристократических понятий.

Рассказы Волконского дорогой были очень любопытны. Я вспомнил, что ему кланяется Щепкин, и он по этому случаю рассказал свое знакомство с ним в Ромнах. Михаил Семеныч,

как ты знаешь, начал свое театральное поприще еще бывши крепостным человеком. Чтобы отпустить его на волю, просили с него около 20 тысяч асс.,—разумеется, такой суммы у него не могло быть. Волконский принял в нем участие и начал собирать по подписке деньги на его выкуп. Чтобы сбор шел успешнее он надел парадный мундир, звезду и ленту и отправился по всем лавкам (это было во время ярмарки) собирать с купцов деньги. — Таким образом ему удалось собрать до 18 т. р. асс. Этого я никогда не слыхал от Щепкина, но Волконский не такой человек, чтобы в его рассказе можно было хоть сколько-нибудь усумниться.

В Канске мы случайно встретились с Соловьевым. Это был первый Славянин (т.-е. член тайного Славянского общества), с которым я встретился. — Мы тотчас же и познакомились. Соловьеву позволено теперь ездить свободно по всей Сибири—но ему выдали такой билет, с которым его пожалуй и никуда не пропустят. Вот этот билет: Дан сей билет Барону (он барон—Соловьев), взятому с оружием в руках и сосланному в Сибирь, для свободного жительства в Сибири.

Мы приехали в Иркутск прямо в дом Трубецкого. Разумеется мы с отцом обрадовались очень друг другу и проговорили чуть ли не до 6 часов утра. В Иркутске поселены: Волконский, Трубецкой, Поджио, Бечасный и Быстрицкий. О последнем я тебе ничего не могу сказать, видел я его только несколько раз и сам был у него — но говорил с ним только об охоте и биллиардной игре. Говорит ли он о чем другом, не знаю.

10 Дек.

Бечасный—маленький, толстенький человечек, очень похожий на каррикатуру, которую ты у меня видела. Он тоже Славянин. В Петровский завод он приехал без всякого образования, там выучился он языкам и так выучился — что давал после в Иркутске уроки французского языка дочерям генерал-губернатора Руперта. Теперь он занимается, кажется, больше хозяйством чем другим чем-нибудь—да об другом он почти совсем и не хочет думать.

Поджио (портрет его очень похож)—итальянец, сохранивший весь жар и все убеждения юношества. Эта пылкость в че-

ловеке уже пожилом имеет какую то особенную прелесть. Но грустно становится, когда подумаешь, что такая энергия уже тридцать лет стеснена тюрьмою и ссылкою.—Сколько бы пользы могла она принести, ежели бы ей был дан простор. Еще грустнее становится, когда подумаешь о нашем поколении и о поколении, которое за нами идет, и когда сравнишь их с такими людьми, каких встречаешь здесь.

Возьмем, например, хоть самых близких знакомых—есть между ними люди и умные, и образованные, и честные, но многие ли из них не тратят жизнь на пустяки—и у многих ли найдешь какую-нибудь энергию и даже какие-нибудь убеждения? И себя я не могу исключить совершенно из этого числа, что будет дальше—увидим.

Самый замечательный человек из всех иркутских жителей—Трубецкой. Всегда спокойный, всегда одинаковый, он не производит впечатления с первого раза, но узнавши его хоть несколько, нельзя не почувствовать к нему привязанности и глубокого уважения. Привычками своими и обращением ровным со всеми, он напоминает Пущина, но по уму, образованию он стоит несравненно выше, не говоря уже об убеждениях. Трубецкого знают большею частью только по 14-му Декабрю. На его долю выпала тогда роль, к которой он не был способен,—он растерялся. В 14-м я его нисколько не оправдываю—но после 14-го, конечно, он стал выше всех, вышедших на площадь. Про Трубецкого сочинили несколько возмутительных рассказов, но когда-нибудь откроется, что в них нет ни слова правды. Шницлер [1]) говорит (прежде всего это было, кажется, в каком-то австрийском журнале), что Трубецкой, когда привели его к Николаю Павловичу, упал на колени и просил пощадить его жизнь, и что Николай Павлович сказал ему: вы „будете жить, ежели у вас достанет сил жить так постыдно". В отчете следственной комиссии есть намек на то, что Трубецкой воспользовался общественным капиталом в 5 т. руб. асс. Это последнее обвинение смешно, конечно, ему не верил и тот, кто писал его. Трубецкой был богат и ему не было нужды воспользоваться такой бездельною суммой — его пожертвования в пользу товарищей в Сибири показывают, кроме того, что его

[1]) В книге „Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas", вышедшей в Париже в 1847 году.

менее всего можно упрекнуть корыстолюбием. Но и первый рассказ — наглая ложь.

Я пропускаю описание моего пребывания до сих пор в Иркутске, чтобы перейти прямо к разговору, бывшему у нас вчера и поэтому свежо сохранившемуся в моей памяти. Дело шло о 14-м Декабря и о допросах, и по этому случаю Трубецкой рассказал свой арест. Он был в доме у австрийского посланника Лейбцетерна—вечером приехал к нему Гагарин и объявил ему, что государь требует его к себе. Он поехал вместе с ним тотчас же во дворец. В сенях Гагарин объявил, что государь приказал взять у него шпагу. Он отдал шпагу и его повели в комнаты, занимаемые Николаем Павловичем. Там встретил его Толь—и велел ему написать все, что он знает о 14-м Декабря и о тайном обществе.—„Я сел писать,—рассказал нам Трубецкой,—и написал все что касалось до меня, не упоминая ни об одном члене общества. Когда я окончил, Толь взял мое показание и понес его в кабинет к Николаю Павловичу. Через несколько времени отворилась дверь и в комнату вошел Ник[олай] Пав[лович] с листом бумаги в руках. „Вы не все написали, сказал он мне; видите ли вы, что это такое?" и он показал на бумагу. Это была программа 14-го, которую мы составили вместе с Рылеевым 13-го вечером. Ее взяли, вероятно, вместе с моими бумагами. „Я могу вас расстрелять!"—продолжал Николай Павлович. — Расстреляйте! отвечал я, — в эту минуту я смотрел на смерть, как на благодеяние,—я был вполне уверен, что сгнию в крепости. „Вы—полковник,—сказал Николай Павлович,—Трубецкой, князь, и не постыдились смешаться со всей этой дрянью—вы будете жить, но я сделаю жизнь для вас несносною". Он распространился потом опять о том, что я обесчестил свое семейство, погубил жену и проч. „Садитесь и напишите к жене,—сказал, наконец, он,—что вы живы и здоровы". Я написал записку к жене. Ник[олай] Пав[лович] стоял в это время за моим стулом и читал то, что я пишу. „Прибавте сверху",—сказал он, когда я кончил,—„что вы будете живы".

В этих допросах обрисовывается уже почти вполне характер 30-летнего управления. Князя Волконского Николай Павлович встретил словами: „Как вам не стыдно, что вы в вашем чине подчинились полковнику! (т.-е. Пестелю)". С каким бесстыдством

в то же время говорил Николай Павлович о своем милосердии. Перед выездом из Петербурга граф Лейбцетерн был у Николая Павловича, — заговорил с ним о производившемся суде и намекнул о помиловании. — „Je vous comprends, — сказал Николай Павлович — vous voulez dire que le droit de grâce est le plus beau fleuron de ma couronne. Je le pense aussi et je vous le prouverai bientôt“. [1])

Граф Лейбцетерн прямо из дворца поехал к Катерине Ивановне Трубецкой, чтобы успокоить ее на счет участи мужа. Подобных обещаний было несколько. — Однажды в Алексеевском равелине Трубецкой получил записку от Рылеева. Рылеев извещал его, что он видел жену, которая лично просила об этом Николая Павловича. Николай Павлович утешал ее и, между прочим, сказал: „Будьте покойны, никто не будет обижен“. 9-го июля вечером у Николая Павловича был Опочинин. Верховный Суд уже представил в это время приговор, — который и был подписан на другой день 10-го июля. Разговор зашел, между прочим, о подсудимых и Николай Павлович сказал: „Завтра я удивлю Европу своим решением“. Опочинин тотчас же известил об этом Трубецкую, которая и передала эти подробности мужу. В самом ли деле Николай Павлович думал произнести снисходительный приговор, или он хотел скрыть истину, — но, во всяком случае, нельзя не верить рассказам Трубецкого, человека до чрезвычайности добросовестного.

Жалко, что не останется после таких людей записок или останутся очень немногие — в их рассказах множество драгоценных исторических материалов, бросающих новый свет и на современных им людей и на общество. Может быть теперь для них самое время писать записки. 30 лет прошло с тех пор, как они сошли со сцены — ежели многие подробности позабыты, то главные черты происшествий живы еще в памяти и не может быть того пристрастного взгляда на дело, от которого прежде не легко было бы отделаться. Ежели многие стоят еще за свои убеждения, то нет почти никого, кто бы стоял за отдельные личности — напротив — все более или менее согласны, что лица участвовавшие в деле были гораздо ниже его.

[1]) „Я вас понимаю — вы хотите сказать, что право помилования есть самое прекрасное украшение моей короны. Я тоже так думаю и скоро вам это докажу“.

И с этим нельзя не согласиться — стоит только вспомнить, сколько напутано было почти всеми при допросах Следственной Комиссии. Правда, допросы некоторых мало известны, правда и то, что несколько человек по окончании суда протестовали против нарушений судебного порядка, которые выходили из всяких границ.

Записываю для тебя все, что вспомнится, и поэтому ты не ищи порядка в этом письме. Говорят, что когда привели в Следственную Комиссию Пестеля и стали обвинять его в намерении совершить цареубийство—то он отвечал: „Я еще не убил ни одного царя, а между моими судьями есть цареубийцы".— В следственной комиссии был членом Голенищев-Кутузов, который участвовал в убийстве Павла.

Как-то наднях был разговор про эту катастрофу. С. П. Трубецкой и отец знали еще многих участвовавших в ней. Кажется нет сомнения, что Александр был в числе заговорщиков: встретившись однажды с Аргамаковым, он сказал ему:—„Ни я, ни Россия не позабудем, что ты для нас делаешь".—Аргамаков этот должен был провести заговорщиков во дворец к Павлу.

Говорят, что когда Пален показал Александру подписанное Павлом повеление посадить Марью Федоровну и Константина Павловича в крепость, — то Александр согласился на все, но потребовал чтобы Павлу была пощажена жизнь. Об самой катастрофе — довольно верен рассказ Фон-Визина. [1]) Отец знал в Семеновском полку рядового Перекрестова, которого после катастрофы приставили к дверям комнаты, в которой была Марья Федоровна; она порывалась итти — он ее не пускал.— Наконец, она почувствовала, что ей дурно и попросила воды. Перекрестов отворил несколько дверь и передал ей принесенный с водою стакан. Когда он кончил срок службы, Марья Федоровна взяла его к себе. — Пален оставался первое время еще генерал-губернатором. Причина его отставки следующая: Марья Федоровна поставила над входом в церковь Воспитательного Дома портрет Павла, нарисованного — спасителем.

---

[1]) Рассказ Фон-Визина напечатан в сборнике: „Цареубийство 11 марта 1801 года", изд. Суворина, 1907 г. В издании записок Фон-Визина под редакцией Семевского (в 1905 году) — рассказ об убийстве Павла пропущен по цензурным соображениям.

Пален велел снять этот портрет. Марья Федоровна велела поставить его опять.—Пален опять его снял и велел сказать Марье Федоровне, что он этого не потерпит. Марья Федоровна жаловалась Александру, который и отставил Палена. Что причиной отставки было не убийство Павла, это доказывает уже и то, что Голенищев-Кутузов остался в милости. Нет никакого сомнения, что Пален имел целью ограничить власть Александра; отчего это не состоялось — неизвестно, — но едва ли справедлив рассказ Фон-Визина об отравлении Талызина [1]).

После Борисовых, Кюхельбекера и Одоевского осталось здесь много бумаг, но в них нет ничего любопытного. Стихотворения Кюхельбекера и Одоевского очень плохи. Ежели Одоевский и будет сколько-нибудь известен в литературе, так только разве по стихотворению Лермонтова, посвященному его памяти. — Вот лучшее стихотворение Кюхельбекера, написанное им во время заключения в Шлиссельбургской крепости:

ТЕНЬ РЫЛЕЕВА.

(1827 г.).

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряницы,
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы,
Во тьме на узничьем одре лежал
Певец, поклонник пламенной свободы,
Отторжен, отлучен от всей природы,
Он в вольных думах счастия искал.
Но не придут обратно дни былые:
Прошла пора надежд и снов,
И вы, мечты, вы, призраки златые,
Не позлатить железных вам оков!
Тогда — то не был сон — во мрак темницы
Небесное видение сошло:
Раздался звук торжественной цевницы;
Испуганный певец поднял чело,
И зрит: на облаках несомый
Явился образ, узнику знакомый
— „Несу товарищу привет
Из той страны, где нет тиранов,

[1]) См. Записки М. А. Фон-Визина в издании Семевского, Богучарского и Щеголева: „Общественные движения в России в первую половину XIX в.“, том 1, стр. 143.

Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью
И ты, я знаю, пламенел
К отчизне чистою любовью;
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь, не жертвовал ты снам,
Надеждам будет исполненье!"
Он рек и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы.
Воздвиг певец восторженные взоры
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой.—

В этих стихах, конечно, нет пиитического достоинства—или проще сказать: они плохи, но они замечательны тем, что написаны в крепости, после годового заключения.

Записок после себя никто не оставил—я знаю двух или трех человек, которые вели записки, но сожгли их, когда схватили Лунина за его письма к сестре и сослали его в Акатуй. Письма эти Лунин хотел напечатать в Америке, а, между тем, начал их распускать в рукописи.

Гораздо интереснее бумаг рассказы живых людей. Трубецкой много видел и был знаком со многими людьми, так что, может быть, теперь никто не в состоянии объяснить так последнего времени царствования Александра и в особенности времен междуцарствия.

Вот что он рассказывал между прочим: Когда получено было известие о том, что Александру плохо, в церкви Зимнего дворца собрались к молебну о исцелении Александра. Трубецкой при этом присутствовал. Еще молебен не кончился, когда вызвали из церкви Милорадовича к курьеру, привезшему известие о смерти Александра. Милорадович скоро вернулся назад и вошел в алтарь. Молебен был прерван, и из алтаря вышел священник с крестом, обвернутым черным флером, и подошел к императрице Марии Федоровне. Тогда все дога-

дались, что император умер.—Николай Павлович, Милорадович и еще несколько человек удалились во внутренние комнаты. Как рассказывали, в этот же день Николай Павлович требовал, чтобы присягали ему, но Милорадович не согласился и убедил Николая присягнуть Константину, которого отреченье, как необнародованное при жизни Александра, не получило законной силы. Николай Павлович присягнул в этот же день в дворцовой церкви. Бывшие в дворцовом карауле солдаты не хотели сначало присягать: они не верили, что Александр умер, многие из них не знали даже ничего об его болезни. К ним принужден был выдти, наконец, Николай Павлович и объявить, что известие о смерти Александра Павловича, действительно, справедливо и что он сам присягнул Константину.

Еще прежде Башуцкий, по приказанию Милорадовича, разослал приказанье по всем полкам и караулам присягать Константину.—Всех присутствующих удивило, что этим распоряжается комендант, помимо императорского брата. Трубецкого это удивило не менее других, и он поехал узнать в Сенат,—что там делается. Там встретил он обер-прокурора Краснокутского и, кажется, Голицына.

— У нас как то удивительно действуют,—сказал он им:—комендант посылает приказание присягать.

— Да и у нас тоже велено сенаторам присягать, и они уже присягнули.

— Да как же это, ведь есть завещание в пользу Николая Павловича?

— Я заметил это Лобанову м[инистру] ю[стиции],—сказал Краснокутский—и спросил его, что же нам делать теперь с завещанием? Он отвечал, чтобы я прислал его к нему на дом.

Между тем у Шницлера, [1]) Ламартина [2]) и у многих других ты найдешь великолепное описание того, как Николай Павлович и Константин Павлович представили пример небывалого в истории самоотвержения двух братьев, уступающих друг другу корону. [3])

---

[1]) Schnitzler, Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas, Paris 1847.

[2]) A. de. Lamartine. Histoire de la Russie, Paris, 1855.

[3]) Конец этого письма не сохранился.

II

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ДЕКАБРИСТОВ

1839—1854 г.г.

Пока декабристы считались в каторжной работе, им не разрешалось самим вести переписку. Правом этим пользовались только те, кто попал прямо на поселение, как М. И. Муравьев-Апостол, А. А. Бестужев и некоторые другие. За тех, кто находился в Чите, а потом в Петровском, писали жены декабристов, приехавшие вслед за своими мужьями; больше других писали Е. И. Трубецкая и Е. П. Нарышкина. Собственноручных писем декабристов от того времени сохранилось мало. Для передачи этих писем нужна была очень надежная оказия. По какой-нибудь случайности или неосторожности дело раскрывалось, и выходили неприятности и для писавшего и для передатчика.—С переходом на поселение дело менялось. Но все-таки письма поселенцев должны были проходить через губернаторскую цензуру: письма писались на имя гражданского губернатора для передачи—такому-то. Просматривать письма поручалось кому-нибудь из губернаторских чиновников; так в Тобольске в 40-х годах просматривал письма чиновник Стефановский, на которого декабристы в письмах своих друг к другу часто жалуются, что он долго задерживает корреспонденцию.

Дружба, завязавшаяся и окрепшая во время каторги, за 10—15 лет совместной жизни, сохранялась и после выхода из тюрьмы. На поселение декабристы выходили постепенно, в связи с тем, к какому кто был отнесен разряду.

Некоторые сначала поселены были по одиночке. Например, П. И. Свистунов был поселен сначала в селе Идинском Иркутской губ., где он пробыл всего несколько месяцев, и потом переведен в Западную Сибирь—в Курган. П. А. Муханов поселен был в начале 30-х годов в Братском Остроге, верст на 300 к северу от Иркутска, и прожил там один без товарищей 10 лет. В начале 40-х годов его перевели в Усть-Куду, вблизи

Иркутска. Про него говорят в письмах, что он, прожив так долго „один одинешенек“, остался тем же хорошим человеком, но стал совершенно сибиряком по своему говору. Только немногие декабристы остались на поселении за Байкалом. В Восточной Сибири главным местом поселения были окрестности Иркутска—Оек, Урик, Усть-Куда, Малая Разводная; в Западной—города Тобольской губернии: сам Тобольск, Туринск, Тюмень, Ялуторовск, Курган.

Первые годы после выхода на поселение переписка между декабристами была особенно оживленной. И никто не получал столько писем, сколько Пущин. Во время житья в Чите и в Петровском многие из товарищей горячо привязались к Пущину. Письма их к нему проникнуты глубокой любовью. К сожалению, далеко не все письма к Пущину сохранились. Письма каждого года Пущин переплетал отдельно; но все-таки некоторые письма не попадали в эти тетради. В нашем семейном архиве сохранились тетради писем только за 9 лет: за годы—32, 39, 40, 41, за часть 42, 43, 47, 54 и 55; в отделе архива Исторического Музея имеется тетрадь за 29 г.

Как я уже указал, и на поселении переписка декабристов подвергалась цензуре. Это очень стесняло писавших, и они по возможности меньше пользовались почтой и старались пересылать письма с оказией. Конечно, письма из России и в Россию и из Восточной Сибири в Западную и обратно шли почти исключительно почтой, так как оказии были очень редки. Но в более тесном кругу, наприм., в Тобольской губернии года через два уже завязывались близкие знакомства, и большинство писем шло с оказией. Пущин имел обыкновение, получив письмо, надписывать, когда письмо получено и, если с оказией, то через кого.

В конце 1839 года Пущин был поселен в Туринске. Среди писем 1840—41 годов много писем, присланных по почте, а в 1842 году почти все местные письма с оказией. А писем было много. Почему же все так тянулись к Пущину? Чем он привлекал к себе сердца? О том, что за человек был Пущин, писано много. Я приведу только несколько слов из письма его сестры. В 1841 году в Петербурге умерла мать Пущина. В письме сестры его Анны Ивановны, которая рассказывает

о похоронах матери, в конце есть приписка рукой другой его сестры, Евдокии. Она пишет: „Голубчик мой Иван, горько ты поплачешь о нашей кроткой и ласковой маменьке. Тебе одному молоком своим передала [она] свою особенной доброты душу и желание все другим отдать“.

ПИСЬМО С. Г. ВОЛКОНСКОГО К И. И. ПУЩИНУ

3-го генваря 1842 г. [1])

Добрый и почтенный друг Иван Иванович, первому пишу вам в сем году — и первому вам желаю хоть письменно, но поверьте всею душою, всего лучшего в мире, и все сходно с собственными вашими желаниями — для себя прошу от вас одного — постоянного местечка в памяти и в сердце—очень, очень дорожу этим чувством вашим в мою пользу.

У нас Евгений [2]) прогостил или лучше сказать в Оеке более месяца, но спасибо ему и нас не забывал. Его рассказ о нас всех будет утешительней для вас нежели мой, его доброта не видит в ближнем ничего дурного—он и меня вам расхвалит, не верьте — так же порочен во многом, как и прежде — стараюсь, чтобы рассудок брал бы вверх над страстями — необходимо в моем быту. Грустно мне вам писать, добрый друг, чрез Евгения — с его проездом мимо нас рушатся все надежды видеть вас в кругу нашем—недочет разительный для меня, для Миши [3]), для всех; грустно сказать, уже не увидимся, но кажется, тому быть, переворот и нашей судьбе политически

---

[1]) Вверху пометка карандашем рукой Пущина: „Обол(енский), пол(учено) 26 февр.“

[2]) Евгений Петрович Оболенский—декабрист, близкий друг И. И. Пущина. сначала поселен был в Етанце—селении Забайкальского округа, Иркутской г. В 1841 г. он получил разрешение переехать в Зап. Сибирь в Туринск, Тобольской губ., где жил на поселении и Пущин. В конце 1841 года, по дороге в Туринск, он заехал к поселенным под Иркутском. Волконские жили в Урике, Трубецкие в Оеке. В Туринск Оболенский приехал 26 февраля 1842 г.

[3]) Сын С. Г. Волконского. Волконский в начале 1825 г. женился на М. Н. Раевской. В Сибири у них родились двое детей — Михаил—в 1832 г. и Елена (Нелли)—в 1834 году.

несбыточен, и мы каждый со своей стороны и летами — вы здоровьем—все ближе и ближе к мать сырой земли, не грустно умереть в Сибири, но жаль, что из наших общих опальных лиц костей—не одна могила, мыслю об этом не по гордости, тщеславию личному, врозь мы, как и все люди, пылинки, но грудой кости наши были бы памятником дела великого при удаче для родины и достойного тризны поколений.

Истинно уважаемый мною Евгений не мыслит, что везет строки этого рода, сжег бы мой листок. Уважаю его чистую веру и добродетель в постоянном действии — но полагаю, что и в моем чувстве нет безверия, там—выше—нас рассудят.

Об лицах нашего круга ничего не буду писать, пусть Евгений в волю расскажет вам собственных суждений, все будет краше моих слов и суждений. Сам живу поживаю по-маленьку — занимаюсь вопреки вам хлебопашеством, и счеты свожу с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку—без цензуры и упрек, тяжеленько было в мои лета быть под опекою [1]). Жена будет вам писать сама, благодарю бога, здорова и вся в быту детском, дети милы до крайности; Мишенька нынешней зимой слабенек здоровьем. Вольф говорит, что от излишнего стремления организма к росту, довольно его поберегать и авось лето и уход жизни сельской при благоприятстве погоды — укрепят его — теперь же он, бедный, почти всегда закупорен в комнате — и нельзя иначе при зиме нашей, которая сначала была очень сурова, теперь проясниваюх славные дни солнечные. Мишенька учится хорошо, т.-е. прилежно и успевает, способности много и охоты к учению довольно. Препровождение в Акатуй М[ихаила] С[ергеевича] [2]) лишило его отличного наставника в англицком языке—успевал неимоверно—и наставник и ученик были друг другом довольны, а это редко случается—

[1]) В 40-х годах у Марии Николаевны уже не было того преклонения перед мужем, которое заставило ее в 1825 году последовать за ним в Сибирь. Не все в их отношениях было гладко.

[2]) Михаил Сергеевич Лунин, декабрист, с 1837 года жил на поселении в Урике. Весной 1841 года был внезапно ночью арестован и перевезен за Байкал в Акатуй. Об М. С. Лунине и его письмах к сестре см. примечания к письму Вадковского от 10 сентября 1842 г.

хотя по-моему это лучшая порука в успехе. Евгений экзаминовал Мишу и доволен в некоторых частях учения; я не мог представить ему на суд мои попытки—от должности Цифиркина уволен до будущей зимы; много занятий Мише и без того и здоровьем слабенек, притом же спор вышел о системе первоначального учения арифметики, что кажется довольно странно, я люблю отчетливость—жена показ; часы были в дни ее занятий и оттого спор в передачи—до будущей зимы отложил, но не передал— и сил и рассудка будет более у Миши по милости божией, и мне без спор более надежды к успеху. Все это для вас одних, мыслю с вами рассказом.

Не буду перещитывать полученных ваших писем, оставшихся без ответа от меня. Помилуйте, добрый Иван Иванович, хлопоты, уборка, свозка, молотьба хлеба—скружили голову—все надо следить,—а не то, как маков цвет, ощипут—да и притом все ждал приезда Евгения, чтобы вам писать без боязни цензуры, всегда для меня—помехою в моем разговоре с вами— даже когда она и не далее хватает, как под беглый взгляд В. В. Курбатова.

Не знаю, писал ли я вам о надежде видеть Муханова постоянным соседом; давно пришел запрос, нет ли препятствий к его переводу и спросе у него, куда желает, давно пошло представление о назначении ему Усть-Куды местожительством и ожидается вскоре разрешение; желаю от души дозволения на сей перевод из Питера. Одножительство с Мухановым мною весьма ценимо собственно для меня и для Миши; коммерческим предприятиям лофа для обоих. Все довольны его приездом—но предвижу некоторые столкновения [1]).

Писал вам о Мише и не дал отчет о прелестной моей Неллинке — которую от души люблю и балую, ласкова, мила до высшей степени, прямо диво умом и добротой—но не очень склонна к учебным занятиям; уверяет, что это все вздор, и едва посадят за тетрадку и книги, как порхнет птичкой к куклам и игрушкам.

Однако, жена успела порядочно ее выучить читать по-русски — и она по вечерам [не] без охоты читает сказки милой

---

[1]) Повидимому М. Н. Волконская не очень любила Муханова; вероятно в связи с этим надо понимать слова: „предвижу некоторые столкновения".

своей няне, известой вам Марии Матвеевне — которая очень вам признательна за постоянную вашу память об ней [1]). Мих[аил] Мат[веевич] ее брат, наш повар, как помнится в сентябре представился и наш Careme [2]) теперь Андрюшка; Матвеевич был добрый человек и славный повар, — в том и другом для нас потеря, жена его за два месяца до кончины мужа родила сынка вам соименника; ее летом отправим в Россию. Матвеич пил в свой век мало водки—а умер от водяной.

Пишу вам как предметы ложатся в ум без связи и методы.— Якубович променял сокола на кукушку; говорит, что ему очень плохо на приисках, куда не пускают, и живет в Назимове [3]) [в] лачужке на Енисее. Желает переехать обратно—но не соглашаются в представлении как по миновении года от отъезда. Борисовы в Разводной [4]) кое как живут, гостят иногда у нас и Андрей Иванович без спектакли, покаместь живут у Артамона в отдельном доме—не слишком Артамон выказывается в этой помощи—одними стенами. Надобно помыслить дать им оседлость собственную; их быт обеспечен женою ежегодным пособием—500 руб. от жены, хлебными продуктами от меня и казенным пособием—всего будет свыше тысячи рублей; безбедненно и без прихотей А[ндрея] И[вановича] можно жить. Петр все тот же труженик прямо в отношении брата — который с некоторого времени стал менее бестолков. Кое как надеется букетами, птичками и разною живописью Петра и продажею собираемого гнуса [5]) земного Андрея сколотить тысячку и тогда приняться за постройку им собственного дома.

На нынешний год с величайшим трудом составил я компанию на Jour[nal] des Débats и Берлинскую; выписал на свои фондуши, а за прочих внес заимообразно и в том щету и за

---

[1]) Мария Матвеевна Мальнева поехала в Сибирь как горничная Марии Николаевны, была преданным семье Волконских человеком.

[2]) Careme (Карем)—известный французский повар.

[3]) Село Назимово или Назимовское—на левом берегу Енисея—верст 200 ниже по течению.

[4]) Малая Разводная—сел. на Ангаре близ Иркутска, там были поселены Арт. Захар. Муравьев, Юшневские, братья Борисовы (Андрей и Петр Ивановичи); Андрей Иванович Борисов был болен тяжелой душевной болезнью.

[5]) Басаргин в своих записках (изд. „Огни", стр. 132) говорит: „Братья Борисовы любили заниматься сбором коллекций насекомых".

Артамона, а этому щету конец будет бог весть когда. Мы здесь были в непростительном безведении Европы. Однакож мало подпищиков; хотел было составить резервный капитал на будущую выписку—Вадковский и Панов отказались в участии, зато уж выдам такие строгие правила, что и заглавия нельзя будет им дать прочесть—без пени в общественную кассу.

Рад, очень рад, добрый и почтенный друг, что здоровье ваше поправилось—следуйте постоянно системе воздержания доброго наставника медика—которому здесь не дают большую веру—но который, кажется, над вами опытом доказал знание вашей недуги и удачного пользования оной. Прошу от меня передать Николаю Васильевичу [1]) истинное выражение моей признательности за добрую о мне память — желаю ему и супруги его всего, что сами для себя желают.

Вы ожидаете Евгения, чтобы просить о переводе из Туринска—а что бы еще бы сделать попытку на Восток, авось великое слово в русском царстве—родня похлопочет, и чтоб отвязаться—согласятся, а нам уже несказанная радость; Иван Иванович, попытайте еще раз вместе с Евгением соединиться с нами.

Последнее ваше письмо от 8-го ноября—благодарность за добрые пожелания нам всем в оном и предшествующих, осталось без ответа, еще раз простите неаккуратность, повинную голову меч не сечет.

Ваше поручение о рисунках теперь не могу сделать, Максимович в отсутствии в отпуску в России, приедет, постараюсь отыскать мертвопись [2]) Каринского. Миша ожидает с нетерпением и благодарностью ружье—он будет сам к вам писать и письмо без всякого наставления и приписки, от Нелли вряд ли скоро дождетесь этой милости; но без фраз скажу вам, что очень вас заочно любит и помнит — весь дом униженно вам кланяется. Мария Матвеевна в голове всех.

Пошутите над Евгением — о страсти им здесь внушенной: Мартемьяна [3]) подобие жены... хотела его изнасилничать и объ-

---

[1]) Декабрист Н. В. Басаргин.

[2]) „Мертвопись“ в замену слова „живопись“ ввел М. С. Лунин.

[3]) Мартемьяна (Маремьяна) была няней в семье Трубецких. Жена декабриста Юшневского Мария Казимировна в письме к И. И. Пущину от 31 ян-

явила, что ночью к нему придет, всем объявляла о скором бракосочетании с ним, вытяговала морщины, затяговала кости, подвязывала...—устремляла полумертвые, полустрастные взоры—почивала просвирами, пела молебны, ходила на стояния, но Евгений все выдержал без стояния. Того и смотри, что полетит к вам в Туринск, как аэролит.

Много бы вам мог написать о Иркутске, о знакомых, романических приключений бездна, сплетен еще более—но все-таки лучше помолчать письменно о лицах, предоставляю вам добиваться этих пояснений от Евгения, который, вероятно, всех вам выставит blanc comme neige [1]). Добрый Евгений был у Кучевского, все по своему обыкновению толкует, убеждения его не разделяю, признаюсь, что не понимаю, почему странно... и форникацию не под... освящать брачном союзом и тем более, что за две недели до шлюпа, как говорят евреи, писал через Трубецкого о приезде коренной своей жены из Астрахани. Беден, жалко, по силам надо помогать, но и тут коренным нашим прежде, а их много обстоятельствами или собственную виною без куска хлеба [2]).

варя 1843 г. пишет: „Теперь скажу вам и веселые вести. Марьяна вышла замуж, свадьба ее была в Оеке. Супруг у нее вдовец, писарь здешнего бригадного генерала, трое детей у него, человек не старый, мужчина видный, как уверяет Марьянушка, очень умный. „Вы не поверите, Мария Казимировна, как я щастлива, что мне попался такой умный человек в женихи. Это будет деликатный простой и без художств муж". Я ее поздравляла усердно и желала ей щастья. „Буду щастлива, уверяю вас, меня господь награждает за мое добродетельное прошедшее чувство" Евгений Петрович объяснит может быть—прибавляет Юшневская—что хотела она выразить".

1) „Белыми, как снег".

2) Александр Лукич Кучевский—майор Астраханского местного полка; подробности о нем в вышедшей 1925 г. книге. „Декабристы" издание Пушкинского дома;—письмо Вадковского к Оболенскому от 1 декабря 1840 года и примечание. К женитьбе Кучевского декабристы отнеслись неодобрительно. А. Н. Сутгов в письме к Пущину от 20 февраля 1841 г., в котором он вообще очень резко отзывается о поселенных под Иркутском, говорит: „Кучевский продолжает майорить, он выстроил избушку, вспахал землю, завел индеек и взял в стряпки 14-летнюю безобразную девченку. Сатана его попутал и он ухитрился уродику своему сделать чрево, вследствии чего должен был на ней жениться; старой же своей супружнице он месяцев за 6 перед тем, писал, чтоб она во что бы-то ни стало хоть пешком притащилась разделить с ним остатки дней

Сейчас узнал, что Муханову вышло разрешение о переводе в Усть-Куду, радуюсь за него за себя о соседстве, потолкуем про много и об вас верно.

Почтенный друг, Иван Иванович, больно жаль, что вы не среди нас — перемудрили двухсторонними просьбами; лучше прямо бы к цели; приехали бы как бы в Етанцу, остались бы у нас, а потом и Евгения сюда или вас обоих в соседство. Одним утешаюсь, что поездка ваша на запад, возвратила вам здоровье—продолжайте соблюдать воздержание—и утвердитесь в выздоровлении. Ради бога, поскорей вон из Туринска—грустно вас знать вблизи этой могилы наших [1]). Евгений что-то не разделяет мысли вашей о переводе—c'est de la pruderie administrative une susciptibilité de conscience trop timorée—не по воле здесь, а лучшего обязанность искать. В Кургане ли, в Ялуторовске ли, инде где—это ваше дело—а лучше бы всего к нам, но вряд ли решите, а поверьте, успеете — согласятся, чтобы отвязаться, а для меня и для Миши верх щастья; попытайте и удивите всех и себя. У нас в кругу теперь один вопль безденежья—кажется и вы к тому же итогу, как Евгений сказывал, брались и за шубу и за часы для реализации — поэкономничайте, добрый друг, пора. Муравьевы с фондушами, мы, благодаря богу и Алек[сандру] Никол[аевичу] [2]), без долгов и с постоянными нескудными средствами, протчие без гроша. Трубецкие в голове, а в след все без исключения. Артамон весь в долгу неоплатимом и без высылок, крехтит, сердится и завистью стал несносен. Бедный Сутгов бьется как рак об мель—имел место в Куде на частной мельнице —прорвало плотину, обещались другое—обманули; жена больна, того и смотри, что нос провалится от золотухи—с ней возня и по болезни и по нраву—просто беда ему во всем.

своих. Можешь вообразить себе каково будет когда явится астраханская майорша". Только один Е. П. Оболенский в письме к Пущину от 14 июля 1841 года говорит о женитьбе Кучевского сочувственно.

[1]) В Туринске были поселены Ивашевы. Камилла Петровна Ивашева умерла в конце декабря 1839 года, а ровно через год умер Василий Петрович Ивашев.

[2]) А. Н. Раевский, который вел денежные дела сестры своей Марии Николаевны.

Что пишет вам Розен и Егор Антонович [1])? Письма их не в ряду общих—жаль, что уже более не читаю их, напишите словечко об уважаемом мною товарище и об наставнике вашем, с которым сроднился дружбою моею с вами. Что делают Фонфизины? Если не к нам, то не лучше ли к ним? С климатом уладитесь—а ваше присудствие им услуга, увидитесь—истинное, неизменное мое прошу передать уважение.

Об нашем общем быту не пишу—отчет, как очевидцу, следует испросить от Евгения. Об нем же скажу, что все видели его с истинной радостью и уважением. Добр, снисходителен по прежнему—тот exclusif et plus sociable, чист душою, как и вы.

Но вот уже 12-ая страница—пора перестать болтовню и пожалеть ваши глаза и терпение. Год начинаю хорошо, по письменной части с вами—мне это истинное утешение; буду стараться быть в ответах исправнее, но то хлопоты, то гумор—мешают взяться за перо. Хочу часто писать к вам—это мне полезно: сам себе даю более отчета в собственных действиях. Позабыл одной вестью—диво просто диво, вот уже 6-й день, что Андрей Иванович пирует у нас без проказ, без спектакля, и это уже второй раз. Брат в Разводной на раздолье, рисует цветки, птички, за деньги по заказу, а Андрей пьет, ест у нас, у Муравьевых, у Поджио без боязни отравы. Жена обеспечила частью их существование положительною ежегодною выдачею 500 рублей. Если бы могли отгадать прежде—возможность без сцен сожития, взяли бы в Урик, это бы лучше было для них—в Разводной много слов, а мало дела [2]). Пора перестать и грустно, что не до свидания.

С. В.

---

[1]) Е. А. Энгельградт, бывш. директор Царскосельского лицея:

[2]) „Много слов, а мало дела“—поговорка И. И. Пущина.

ТРИ ПИСЬМА Ф. Ф. ВАДКОВСКОГО К И. И. ПУЩИНУ.

1.

10 марта 1840 г.

Добрый и любезный Пущин! Ты в праве думать, что я умер, или что полу-свобода, нам предоставляемая, меня вовсе переродила! Но и в том и в другом предположении ты ошибешься!.. Я просто был сначала в угаре, как и ты, потом в тумане, и, наконец, томительная неизвестность на счет моей будущности навеяла на меня такую тоску, такое нравственное онемение, что я долго как бы искал самого себя,—да не находил!.. Так и крепился, чтобы не впасть в хандру, которую презираю, когда она бывает следствием слабодушия! Ты знаешь, что я в тюрьме никогда не унывал,—никогда не предавался пустым и неосновательным надеждам и, глядя на вашу братию, мужей кремнистых, умел немного постигнуть философию узничества, которая состоит в том, чтобы жить как можно более днем сегодняшним, а об завтрашнем не заботиться. Здесь же никак не мог применить этих благих правил к моему настоящему положению. Мысль, что более или менее все наши уже укоренились, что некоторые из них уже успели пустить в рост свои способности, что для всех уже началось и разыгрывается последнее действие нашей драмы, что я один из нашей среды остался на юру, и не знаю, где завтра доведется мне постлать мою постель. Эта глупая и пустая мысль так и преследовала меня. Не мог ни о чем думать, ничем заняться, лишен был даже возможности мечтать, потому что и мечтания, сколько бы они легкокрылы ни были, должны иметь опорную точку,—земной приют, откуда бы они могли разлетаться во все стороны. Одним словом, вот тебе моя плачевная история

с тех пор как мы расстались. На Туркинских [1]) водах мы прожили до первых дней сентября. Пили, купались, тосковали, свели кое-какие бесцветные знакомства с дамами, но здоровья, кажется, никто из нас оттуда не вывез. Щепин должен благодарить бога, что своего там не оставил; Швейковский по прежнему весь—завал; Барятинский все так же безгласен, как буква „ъ“,—я опять начинаю чувствовать припадки старой болезни. И, таким образом, все съездили понапрасну, вероятно, от позднего времени года, только что расстратились, а толку не добились. На обратном пути мы видели Оболенского и Глебова. Стану только тебе говорить о первом. Сердце ныло, глядя на это благородное и возвышенное существо, погребенное, бог знает, в каких пустырях, неимеющее с кем разделить времени, разменять слова, осужденное жить с какими-то двуногими, всегда готовыми воспользоваться его редким добродушием, чтобы его обмануть или обокрасть [2]).—Я просто заливался слезами, когда прощался с ним на берегу Селенги. Мне казалось, что я оставляю его живого в какой-то душной могиле. Тем не менее весело на него смотреть: он так тверд, спокоен духом и равнодушен к своему положению, как будто бы он стоял у преддверия рая. Хлопочет, занимается хозяйством, по обыкновению заботится о других, обдумывает каждый свой шаг и даже нашел средство уморить нас со смеху описанием некоторых нравов и обхождения сельских жителей!

В Иркутск приехали мы вечером 16 сентября накануне Нонушкиных [3]) именин. Из нас четырех один Щепин мог следовать к месту своего назначения. За ним через несколько недель отправился и Барятинский в Тобольск, а гораздо позже и старик Швейковский [4]) в Курган. Я—же, тотчас по приезде, написал письмо к генерал-губернатору, в котором, изложив необходимость для меня пользоваться медицинскими пособиями, просил позволить, на некоторое время, остаться в городе. И вот

---

[1]) Туркинские воды—в Забайкалье, близ восточного берега Байкала.

[2]) Оболенский с 1839 года жил на поселении в Забайкалье в селении Етанце, не далеко от Байкала. „Двуногие“—семья Крашенинниковых, у которых жил Оболенский.

[3]) Нонушка—дочь Никиты Михайловича Муравьева—София Никитишна.

[4]) Иван Семенович Повало-Швейковский, декабрист, род. в 1791 г.

скоро 7 месяцев как я здесь, иногда здоровый—большею частью больной, и жду окончательного слова от высшего правительства на счет моей будущности. — В ноябре я получил письмо от старшего брата с копией письма от графа Чернышева, к нему писанного в 1837 году. Выписываю слова министра:

„Государь император, во всемилостивейшем внимании к просьбе вашей, высочайше повелеть соизволил: брата вашего Федора обратить на поселение в один из поименованных вами в просьбе городов Тобольской губернии, по назначению генерал-адъютанта графа Бенкендорфа“.

Далее сказано: „О таковой монаршей милости поспешаю уведомить вас, милостивый государь; нужным считаю присовокупить, что об исполнении высочайшей воли сей сообщено мною генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, так и министру внутренних дел“.

Города же поименованные были: Тобольск, Тюмень и Туринск. Понимается, брат поспешил написать еще раз и к министру. Но недели три тому назад я получил от меньшего брата извещение, что на это второе письмо получен отказ. Они мне не говорят почему и как это сделалось, но по их выражениям я вижу, что все мое семейство расстроено! Что до меня касается, с тех пор, что туман неизвестности немного сошел с моей будущности, я гораздо спокойнее и ограничиваюсь желанием не быть лишену возможности пользоваться соседством аптеки, т.-е. не быть брошену в какую-нибудь мандурку за тридевять земель от обитаемого мира. По просьбе моей, г-н генерал-губернатор согласился сделать об этом представление в Петербург. Не знаю, что бог даст. А, между тем, я думаю, задумываюсь проситься еще раз на воды. Кто знает? Может быть, благовременное испытание их целебности меня поставит на ноги, и тогда хоть в Камчатку... мне будет все равно!

Здесь,—я приятно был обрадован, найдя в одном дамском альбоме несколько строк твоей руки. — И дама, и муж ее, как кажется, очень тебя полюбили и любят... О свадьбе Александра [1])

---

[1]) Александр Михайлович Муравьев женился на Жозефине Адамовне Брашман.

нечего тебе рассказывать. Ты, вероятно, знаешь, все подробности этого события. Я и тут поспел в шаферы и вспомнил, как мы некогда с тобой отличались в подобном обстоятельстве. Молодые живут ладно, хорошо, счастливо, очень друг друга любят, и, кажется, славно сошлись! В январе месяце Жозефина Адамовна немного была опечалена отъездом Каролины Карловны [1]), а вслед за ней и Александры Ксенофонтовны, у которой, как ты знаешь, она долго жила; и которая, томимая любознанием, заманила мужа своего в Петербург с тем, чтобы заняться не на шутку и сколько возможно просветить себя! Цель благая! Жалко, если сила воли изменит! В Урике все по старому все, как ты сам изволил видеть и найти! В Оеке Трубецкие торопят, сколько могут, свою постройку, которая на этот раз, как кажется, соображена не по теории Ноева ковчега! — Юшневские просились остаться в городе по болезни Ал[ексея] Петровича, но получили отказ из Петербурга, и стало быть, почти без приюта, ибо строиться не имеют средств. Артамону Захаровичу [2]) разрешено переселиться в Малую Разводную. Якубович все тот же; речист более чем когда нибудь, а между тем, дела не упускает и усильно хлопочет об улучшении своего положения; и дело! Ты его узнаешь, если я тебе скажу, что на нынешней неделе он отправился говеть в монастырь и взял с собой только мешок сухарей. Не правда ли, это тебе напоминает ту горячность, с которою он всегда превозносил нашу веру и нападал на другие, особенно на магометанскую? — Однакож пора и честь знать и кончить мою болтовню.—Пожми от меня руку Анненкову, Ивашеву и Басаргину [3]). Последнего поздравь от меня. Желаю ему счастья и всего лучшего! Мне смешно, что я начал писать к тебе на четвертушке, а намарал и целых две; значит душа имела по-

---

[1]) Каролина Карловна Козмина, тетка жены А. М. Муравьева—Жозефины Адамовны, была прежде директрисой Иркутского института. В начале 1840 г. уехала в Россию.

[2]) Артамон Захарович Муравьев.

[3]) Анненковы, Ивашевы и Басаргины жили на поселении в городе Туринске Тобольской губ. Там-же жил и И. И. Пущин. Басаргин в августе 1839 года женился на Марии Елесеевне Мавриной.

требность с тобой побеседовать. Donc, vous preserve le ciel d'imputer ma verbosité d'aujourdhui à la rage d'ecrire [1]).

Обнимаю тебя крепко, друг Пущин.

Твой от искреннего сердца

Вадковский.

Посылаю тебе от Александра Ильича [2]) печать. Вообрази, что мной была получена еще на Туркинских водах. Ради бога, не сердись за неисправность. Я все ждал, чтоб мог тебе сказать что-нибудь положительного о себе и, таким образом, всякую неделю откладывал писать к тебе, да и дотянул до теперешнего времени. Самому стыдно.

Un million de respects de ma part, je vous prie, à Madame Anennkoff [3]).

2.

Сто раз любезный и добрый Пущин! Не воображаешь ли ты себе, что я умер, что я переродился, что я перестал дорожить расположением добрых людей, что прошедшее изгладилось из моей памяти, что я охладел к достойной нашей братии и к святым ее чувствам и проч. и проч. Ничего этого никогда не бывало, да и не будет! Я решительно и с ног до головы тот же, и дорого, очень дорого бы дал, чтобы иметь возможность жить, как бывало, т.-е. не сходя с места и у длинного стола или в спокойных креслах! Но с тех пор, что я на половинном окладе (один из моих братьев так хлопочет о своем собственном разорении, что ему не до меня!), я вбил себе в голову, что я до тех пор не буду счастлив и независим, покуда не выхерю моего имени из расходных книг моих однокровных. Это решенный вопрос; — это главная дума, это — пунктик, — это цель моей теперешней жизни; и потому хоть важных дел и не делаю, а все чем-то занят; если же вздумаю посидеть дома, тотчас является посланный от Трубецких, по

---

[1]) „Да предохранит вас небо от мысли приписать мою сегодняшнюю словоохотливость страсти к писанию".

[2]) Александр Ильич Арсеньев.

[3]) „Миллион приветствий от меня, пожалуйста, г-же Анненковой".

стоянно ко мне добрых, чтобы я явился к ним; иногда мочи нет, как не хочется, а отказать ни умею, ибо неимоверно падок на изъявления дружбы. — Таким образом, недели идут за неделями, а нужные письма не пишутся! У меня и теперь в папке лежат несколько писем начатых, но не конченных. Всякий понедельник я себе назначаю некоторое число писем, и всякое воскресение браню себя за то, что ни одно не написано...—Бог знает как это делается, а, somme toute, ни на что не похоже! Во всяком случае, прошу тебя:—если ты меня хоть несколько любишь—рассудить, что ты меня полюбил не за письма, следовательно, боже тебя сохрани меня разлюбить за недостаток или отсутствие писем; и довольно об этом!—Приезд твоего брата [1]) чрезвычайно нас всех удивил и порадовал; нечего и говорить тебе, что он искал знакомства со всеми нами и явил себя истинным братом одного из наших. Желаю от души, чтобы его поручение имело хорошие последствия и принесло бы пользу тому несчастному классу людей, участью которого ему предписано было заниматься. Но несколько сомневаюсь в успехе, хотя и писал к нему противное; кончится водицею лишь бы не ядовитою, как и все у нас кончается; понимается—не от него, а от держащих в своих руках судьбы людей!—от советов, сенатов, комитетов и проч. Он же т.-е. Николай Иванович, в полной мере мне показался благомыслящим и благородным человеком; и если исполнит свое намерение, если запряжет в работу тебя (это кажется его и выражение), я уверен, что с помощью твоего ясного воззрения на предметы, его поездка выльется в замечательный и полезный отчет, а там что будет, то будет. Да решат умницы нашей России!—По моему у нас ни наградительная, ни наказательная система никуда не годятся! тем, что часто наказывают тех, которых бы следовало наградить, как то тебя и меня, и еще чаще награждают тех, которых бы следовало наказывать как-то: (читай Адрес-Календарь!). Извини эту глупую остроту и перейдем к другому предмету, например, к на-

---

[1]) Брат И. И. Пущина—Николай Иванович в 1842 году получил от министерства юстиции командировку в Сибирь для обревизования мест заключения. Во время этой командировки он перезнакомился со многими декабристами.

шей колонии, о которой подробности, переданные в искреннем письме, вероятно, для тебя будут занимательнее моих острот или умствований — и напрасно я сказал наша колония, надо было написать наши колонии, ибо их три, ясно отличающихся одна от другой разными оттенками и даже правилами; именно: Разводинская, Урикская и Оекская.—Я здесь, вероятно, тоже самое, что ты там, т.-е. не принадлежу ни к одной, и стараюсь сколько могу оставаться независимым, беспристрастным, неувлекаемым и бесцветным! Отдам ту же справедливость Сутгову, Панову и Волконскому, а может быть и Муханову, которые каждый в своем роде держат себя довольно отстраненно и несколько самостоятельно и самообразно; прочие более или менее в хомутах, запряжены и преусердно везут что им велят: или лица их запрягающие, или страстишки, или расчеты, или обстоятельства! При всяком событии несколько замечательном, на подобие приезда сюда Каролины Карловны [1]) или арестования Лунина, я всегда вспоминаю тебя. Все тебя любят и уважают, и поэтому каждый, вероятно, старается представить тебе вещи, как он их видит, и от этого должна иногда происходить такая каша в твоих понятиях, что способу нет, как ты говоришь. До приезда Оболенского я часто воображал твои затруднения чтобы составить себе ясное мнение о вещах и людях и смеялся им в душе,—т.-е. затруднениям, а не людям, которые чаще возбуждают во мне жалость, чем смех! Кстати о Лунине и о жалости. Я всячески и у всех расспрашивал, какое впечатление на тебя произвели его сочинения и ничего не мог вызнать положительного; мне рассказывали, что ты с ним целовался, что он тебя очень полюбил, но эти изъявления еще не означают восхищения ниже одобрения к его

[1]) О К. К. Козминой см. прим. к первому письму Вадковского. В конце 30-х годов К. К. Козмина искала сближения с Никитой Михайловичем Муравьевым. В начале 1840 года она уехала в Россию, но в начале 1841 года вернулась неожиданно и приехала прямо в Урик, где жили Муравьевы, чтоб увидеться с Никитой Михайловичем. Александр Михаилович и Вольф очень грубо ее встретили и не допустили ее до Никиты, так что она была вынуждена уехать от них. Она поехала в Оек к Трубецким, а месяца через три вернулась в Россию. Во многих письмах декабристов подробно рассказывается о ее приезде в Урик. Все осуждают поведение Александра Михайловича и Вольфа, а отчасти и Никиты Михайловича.

писаниям и мнениям, вспомни, что из Петровского, в замену его писем, ты хотел ему послать письма Тютчева, и зная отчасти твой образ мыслей, я не хотел думать, что ты пленился подобными пустяками, и уверен был, что ты ласковым обхождением отвильнул от затруднения сказать горькую истину. Скажи мне: отгадал ли я? Если найдешь к тому средство, не называя его. Что касается до его участи, ты не поверишь до какой степени она возбуждает мое участие. Бедный старик! и замечательный старик с неимоверною твердостью духа и характера! но только не глубокомыслием, и в этом отношении решительно можно сказать, что он утонул в стакане воды [1]).

---

[1]) М. С. Лунин с 1837 года был поселен в Урике близ Иркутска. На страстной неделе 1841 года он был внезапно арестован, были взяты все его бумаги и сам он отвезен за Байкал в Акатуй (об аресте Лунина подробно рассказывает С. Г. Волконский в письме к Пущину от 25 мая 1841 г.) Причиной ареста послужили письма Лунина к сестре его Уваровой, а также написанный им „Разбор донесения следственой комиссии", сведение о которых получило правительство. Письма к сестре затрагивали широкие политические и общественные вопросы. Письма Лунина получили широкое распространение. Правительство обеспокоилось и приняло свои меры. Письма Лунина были изданы в русском переводе (Лунин писал по французски) в 1923 году под редакц. С. Я. Штрайха. Кроме писем к сестре и „разбора донесения" Лунин написал „Взгляд на тайное общество" и „Взгляд на польские дела". И в Сибири ходили списки сочинений Лунина: мне известны два списка, сделанные рукой М. И. Муравьева Апостола и один—рукой С. Г. Волконского. Видно, что и некоторые из декабристов их ценили. Но вместе с тем мы находим в письмах и отрицательные отзывы.—Сутгоф в письме к Пущину от 20 февраля 1841 года говорит: „Лунин живет для истории—пишет какой-то (sic) дребедень, но ведет себя хорошо". Муханов в письме от 3 мая 1841 года пишет Пущину: „Здесь (в Иркутске) застал новую печаль и суматоху — Лунин пустился в обратный путь в Нерчинск за переписку довольно странную, чтобы не сказать более, с сестрой Уваровой". Сутгоф и Муханов, вероятно, и не читали писем Лунина; но кроме отзыва Вадковского в письме от 10 сентября—есть еще отзыв И. Д. Якушкина (письмо от 10 июня 1841 г.). Якушкин пишет тому же Пущину: „Мне искренне жаль Лунина и тем более, что я не разделяю вашего мнения, что он хотел быть жертвой... В пятьдесят лет нельзя держать себя так, как он держал себя в 1800 году, когда был офицером гвардейской кавалерии. С его стороны это только легкомыслие и желание, чтобы об нем говорили. Он для меня всегда был и есть Копьев нашего поколения". (Алексей Данилович Копьев (1767—1846) был при Павле I офицером Измайловского полка, писатель драматург, он был известен своим бойким остроумием. За насмешку над прусской формой, введенной Павлом

—А что ты скажешь о Красноярском Васе? [1]). Вот на этого я зол до нельзя! Несчастный, который, чтобы иметь лишнюю копейку на лишнее блюдо, продает своих детей и убивает жену! Мне удалось славную остроту отпустить на его счет, когда мы узнали его ответ. Я сказал, что он поступил, как нежный отец, и дал свое согласие на предложение ему сделанное единственно, чтобы провести резкую черту между своими детьми побочными, которые будут носить его имя, и законными, которые будут называться, чорт знает как! Скажи Оболенскому, что я смеялся от всего сердца, когда мне Трубецкие рассказали о переписке его с В[асильем] Л[ьвовичем]. Дивлюсь его простодушию, побудившему его высказать свое откровенное мнение человеку, у которого вместо сердца и рассудка есть только глотка и желудок! Вот ему и досталось на орехи; век живи, век учись! Но я замечаю, что я занесся, а об колониях и не говорю; итак, начнем с Разводинской; Артамон [2]) мало изменился и постоянно ведет все ту же пустую жизнь, которая так часто нас удивляла в Петровском заводе. Перечитывает старые романы и беспрестанно ездит в город, в иные дома т.-е. к лицам значущим, несколько тайком от наших; остер и зол более чем когда нибудь, но жалко, что иногда для остроты выдает лавочку! Так дружен и неразлучен и нежен с соседкой [3]), что хоть бы Швейковскому! что и заставило меня выпустить келейно следующую глупость: когда его Ангарская рыболовная экспедиция не удалась оттого, что он себе руку сломал, я

Копьев заказал себе эту форму в утрированном виде) был разжалован в солдаты, но вскоре помилован).

В этом сопоставлении с Копьевым видно известное пренебрежение, как это заметно и в отзыве Вадковского. Чем оно вызвано? Для нас это не совсем понятно. Может быть в самой личности Лунина, несмотря на его ум и образованность, были такие стороны, которые шокировали некоторых из его товарищей и клали отпечаток и на его произведения. Мы теперь смотрим совсем другими глазами на Лунина и на его письма к сестре.

[1]) Декабрист Василий Львович Давыдов. Когда правительство предложило декабристам поместить их детей в учебные заведения России с тем чтобы дети носили фамилию по имени отцов, т.-е. чтобы дети Трубецких назывались Сергеевыми, дети Давыдова—Васильевыми,—один только Давыдов согласился на это.

[2]) Артамон Захарович Муравьев.

[3]) Мария Казимировна Юшневская, жена декабриста.

уверял, что она бросилась к нему эту руку тереть, утешала его, укрепляла и говорила en baissant timidement les yeux: ce n'est rien: mon ami, on peut aussi pêcher sur terre. Забавно, что когда я приехал в Иркутск из-за Байкала, они друг друга ненавидели и обрабатывали на чем свет стоит! А теперь, наконец, кажется положительно постигли тождество их свойств и значения на сем земном шаре.—Pixis [1]) учит детей в гроб и до того их просвещает, что один из них, когда у него спрашивают, как лошадь в родительном падеже, отвечает преуверительно: жеребенок; это, по крайней мере, доказывает, что мальчишка уже размышлял о родительном свойстве кобыл! Борисовы кое-как перебиваются; один из них преподает аналитическую арифметику пансиону Алексея Петровича, рисует птички для иркутских купцов и в часы досугов, подняв брови, читает Journal des Debats, а другой, кажется, слава богу, не будет уже в Урике. Я никогда не понимал, зачем приглашать сумасшедшего [2]) в свой круг, а если приглашать—зачем целый день поднимать его на смех и мистифицировать? И даже имел смелость скромненько высказать это мнение. Но, понимается, ему не вняли и кончилось тем, что этот несчастный чуть было один раз не задушил Мишеньку и другого мальчика, а другой раз наскочил сзади на Осипа Поджио, повалил его и ну бить! После чего схватил нож и, может быть, довершил бы шутку убийством, если бы его не связали! Перехожу к другой колонии. Вольф нынешнего года без всякой надобности ездил за Байкал [3]) с семейством председателя казенной палаты. Едва ли не этот титул причиною ненужной поездки. Иначе я не берусь сообразить его отсутствие с воспетою его преданностью к урикским жителям, которые без него могли бы все перемереть. Извини, что я так говорю о человеке, к которому твое сердце когда-то лежало, а может быть и лежит; но которого я решительно или вовсе не понял, или понимаю слишком хорошо, чтобы ценить его по твоему. В моем мнении его вли-

---

[1]) Алексей Петрович Юшневский? Юшневские, чтобы поправить свои средства, пробовали брать детей в ученье; но это не пошло.

[2]) Андрей Иванович Борисов заболел в тюрьме тяжелой душевной болезнью.

[3]) На Туркинские воды.

яние в тех двух семействах, к которым он прирос, двоякого рода, а именно: в физическом смысле преблаготворное, а в нравственном презлотворное! Да и баста об нем, чтобы тебя не рассердить.—Княгиня[1]) также ездила на воды, только на другие; здесь уже было не до председателя, а все Рупертово семейство[2]) и его гадкая свита там собрались.—С нею были оба Поджио и Муханов.—И об этой поездке я сожалел душевно, да и почти все мы, сколько нас ни есть. Наш генерал-губернатор, хотя очень учтив и очень обязателен, но ясно и при всяком случае выказывает, что малейшее сближение с нами ему противно! Как же нам в свою очередь не быть несколько гордыми? В добавок, кажется, что Тункинские[3]) воды вместо пользы принесли вред твоей кумушке. Она, бедная, очень была больна на прошлой неделе, но теперь, кажется, вне опасности.—Волконской в гроб занимается хлебопашеством! Его положение (будь это сказано между нами!) чрезвычайно улучшилось! и кажется арестование Лунина не мало к тому способствовало. Он один из всей Урики вел себя преблагородно и, как следует товарищу, несмотря на то, что и сам Лунин вместе с прочими его постоянно дразнили и выставляли, бог знает чем. В эту минуту старик был истинно велик душой и через одну ночь встал вдруг выше всех тех, которые его беспрестанно унижали. Нечего было делать! Надо было протягивать ему руку и с тех пор пошло все лучше и лучше![4]) Мой родня[5]) все тот же, сердечный, с прекрасным сердцем и с возвышенными правилами, но чистое отсутствие всякой воли и всякой самобытности; отрица-

---

[1]) „Княгиня"—Мария Николаевна Волконская. Она же—„кумушка". Ив. Ив. Пущин был крестным отцом Миши Волконского.

[2]) Руперт—иркутский генерал-губернатор.

[3]) Тункинские воды в Иркутской губ. верст 80 на запад от южного края Байкала.

[4]) В связи с арестом Лунина Вадковский говорит о положении С. Г. Волконского среди его товарищей поселенцев. „Чем объясняется такое к нему отношение? Откуда эти насмешки и унижения? Я думаю, что тут отражалось отношение к нему его жены. Перед Марией Николаевной окружавшие ее мужчины преклонялись—и, конечно, стоило ей сказать одно слово, и отношение к Сергею Григорьевичу стало бы совсем другим. Но надо думать, что она сама давала тон такому отношению".

[5]) Никита Михайлович Муравьев был женат на двоюродной сестре Вадковского.

тельное человечество в полном смысле слова! Брата[1]) его ты бы не узнал; его уверили злотворные влияния,[2]) что у него железная воля, железный характер, и, с медным лбом, он часто в этом смысле действует напропалую. Не видит бедный человек, что он лишь слепое орудие и валяет с плеча туда, и как его направляют. Несмотря на то есть у него много доброго, много благородного, но должно прибавить и много глупого! — Он теперь также занимается разными спекуляциями, но как-то очень неудачно; решительно он к этому неспособен! Оба брата Поджио и особливо наш добрый Александр, который, по моему, несравненно лучше Осипа, усердно хлопочут о воспитании Миши. Первый чем богат, тем и рад и учит его чему только может учить. Второй занимается с ним по части музыки и в этом отношении успехи ребенка замечательны. Муханов также принадлежит к нашей братии т.-е. из числа спекуляторов и если бы он имел контору и располагал большим капиталом, вероятно, действовал бы с успехом замечательным, потому что имеет нужные в этом деле качества как-то: быстроту соображений, ясность взгляда и смелость, но, с другой стороны, он очень беспорядочен и неаккуратен по счетной части, и эти два порока на этом поприще едва ли могут повести к успеху. Мой Сутгоф и рад бы душою чем нибудь заняться, и, вероятно, мог бы по некоторым отраслям заняться с успехом, как человек добросовестный и постоянный в своих начинаниях. Но у него нарост, который называют Анной Федосеевной[3]) и он без этого нароста не может пошевелиться, ни направо ни налево. Однакож, она во многом переменилась к лучшему! Но, тем не менее, связывает его по рукам и по ногам.

Андер-Манир и прошу тебя теперь перенестись в наш Оек. Вместо предполагаемых реформ и двух каких-то немок, долженствовавших исполнять все обязанности в доме, вообрази себе большой двор, в котором толкается несметное число баб, девок, мужиков и мальчиков и объедают, и опивают хозяев. Это будет двор Трубецких и их дворня. — Потом пройди бильярдную, кабинет и найдешь на диване все ту же Катерину

[1]) Александр Михайлович Муравьев.

[2]) Влияние Вольфа.

[3]) Анна Федосеевна — жена Сутгофа.

Ивановну [1]) с щепоткой табаку в руках и думающую! Переменился только диван, а положение, думы, разговоры сидящей на нем все те же, как и прежде! Разве прибавилось несколько ханжества (не показывай этого слова Евгению), ибо она более чем когда нибудь соблюдает среды и пятницы и встает в шестом и пятом часу, чтобы молиться и читать воскресные чтения и тому подобные книги, и это направление, которое отсвечивает во всех ее мнениях, несколько стесняет свободу толков и речей у таких недостойных молодчиков, как твой покорный слуга. Что до Серг[ея] Петров[ича] касается, это тип уважительного человека, но вместе с тем и несколько бестолкового. Он посвещает хлебопашеству то время, которое оставляет ему воспитание его детей, т. е. сеет деньги, жнет долги, молотит время и мелит пустяки, когда уверяет, что это занятие выгодно.—Их дела, кажется, принимают лучший оборот, но трудно поверить, чтобы они когда нибудь могли совершенно очиститься от долгов. Они для этого оба слишком слабы и нерасчетливы, а почтенная их родительница слишком ветренна!

Теперь осталось бы тебе рассказать кое-что о Федоре Федоровиче [2]), но я оставляю этот предмет для приписки к Оболенскому. Извини меня, добрый мой Пущин, что я так размахнулся перед тобой. Я тебя слишком люблю и уважаю чтобы подчивать литературою или фразами. Хотел с тобой побеседовать запросто, искренно, как мы иногда беседовали в первом номере Петровской тюрьмы. Хотел тебе показать мой взгляд на людей и вещи и, если он тебе иногда показался злым или угрюмым, не взыщи; с такими людьми, как ты, я не умею да и не хочу скрываться. Лучше к ним вовсе не писать, чем писать из-за ширм. Злобы же, ей, ни к кому не питаю, а имею порок—и сам это знаю—судить о других довольно строго. Извини меня и люби немного, много тебя любящего и уважающего Вадковского.

[Приписка к Е. П. Оболенскому].

Добрейший Оболенский! В дополнение длинного моего письма к Пущину, которое ты, наверное, прочтешь и за которое, наверное, и мысленно ты меня слегка побранишь, хочу тебе сказать

---

[1]) Екатерина Ивановна Трубецкая, жена декабриста Сергея Петровича Трубецкого.

[2]) Т.-е. о самом себе.

несколько слов и о Вадковском! Ты знаешь, что он себе вбил в голову жить своими трудами? Нынешнего же года хоть жить то он и жил, да нажил тысячу рублей убытку!—И вряд ли можно его винить. Таков был год, который всех решительно обманул, даже самых опытных, даже казну! Но за то он без помощи экстраординарной суммы (заметь это!) завел себе дом, теперь имеет свои три комнаты, кухню, баню, конюшню и огород за 2350 руб. В конце нынешнего года, чтобы наверстать хлебные убытки, он полагает закупить хлеб же по комиссии и для того выхлопотал себе позволение разъезжать по Иркутскому и Верхнеудинскому округам. Билет уж ему дан, и если он его употребит с пользою, он может в продолжение двух месяцев выработать тысяч до четырех! Между тем, он по милости Каролины Карловны получил также из России преутешительные известия. Его старший брат, наконец, решился уступить его просьбам и желаниям и торжественно обещал выслать ему в продолжении года 35 тысяч рублей. Тем кончатся все его счеты с Россией, и он эти 35 тысяч либо ухлопает, либо удвоит в скорое время; в том не сомневайся и тогда либо заживет, либо отправится с мешочком под окна православным христианам! До этого времени он тебя от души обнимает и просит не забывать! Намарал же я вам друзья бумаги. Редко, да метко!

Искренне и всегда тебе с уважением преданный

Вадковский.

Сентября 10-го 1842 года. Оек.

[На верху на первой странице].

P. S. A propos; вот тебе просьба и важная просьба: ты помнишь тот артельный устав, который был написан моею рукой. Куда он делся? Если у тебя остался, не откажи мне, и возврати его с первою возможностью. Кажется и тогда было условлено между нами, что он останется у меня; я давно по нем вздыхаю; если же в других руках, скажи у кого?—Ты много меня обяжешь.

3.

Сентября 10-го [1843 г.] Туркинские воды.

Добрый друг Пущин! Прочитавши твое письмо от 18-го июня к княгине Трубецкой, я расчувствовался и решился к тебе на-

писать, не ожидая обещанного тобою письма! Катерина Ивановна [1]) знала чем меня порадовать и прислала мне твой листок сюда, на Туркинские горячие воды, где я с 19 июля лечусь и, бог еще знает, успешно или нет? Тюрьма решительно поглотила мое здоровье, и это может быть одно неприятное воспоминание, которое она мне оставила! Спасибо тебе, большое спасибо за ласковое слово, которому ты обязан этими строками. Хоть судьба, кажется, нас разлучила навсегда, но верь мне, ты для меня всегда был и будешь одним из тех с которыми, по мне, хоть опять в тюрьму! Я никогда не забуду те приятные часы, которые ты мне изредка уделял в первом номере; или наши иногдашние хлопоты о каком-нибудь знаменитом ужине или пикнике, которого вся роскошь состояла в тощих цыплятах, приправленных салатом и запиваемых квасом. А помнишь ли твою мнимую ссору за меня с Алексеем Петровичем [2]) и ее смешную причину? Воля твоя, такие воспоминанья и еще коекакие другие, п о д е л ь н е е, связывают людей на всю жизнь!— Что скажу тебе теперь о себе? Текущий год был для меня нестерпимо тяжел! Накануне еще Нового года я заболел; с тех пор и поныне я более двух недель сряду ни разу не был на ногах. Все лежал; да лежал не по Петровскому! — Тогда я мог хоть читать или чем-нибудь заниматься; теперь же, то ночь напролет не спишь,—то день весь страдаешь! Между тем, получил известие о смерти старшего моего брата в ту минуту, когда он сбирался упрочить мою будущность! Это был мой брат-кормилица, ибо младший давно мне ничего не посылает, хлопочет старательно о собственном своем разорении и по сию пору не мог рассчитаться с бедным Ротшильдом, что и заставило меня, наконец, передать эту святую обязанность добрым и неизменным моим сестрам. Авось в продолжении будущего года снимут эту занозу с моей совести. Что же до меня касается, если моя невестка не захочет исполнить своего долгу, или если наше положение не улучшится, то очень может статься, что мне предстоит жить подаяньем; ибо жить трудами—никаких нет средств! Что ни день, то новая прижимка! Точно будто евангельские учения принимаются в обратном смысле и вместо

[1]) Екатерина Ивановна Трубецкая.

[2]) Алексей Петрович Юшневский—декабрист.

того, чтобы прощать, карают до семижды семидесяти раз! Но и на это последнее испытание постараюсь, чтобы меня стало! а уж не согну шеи перед судьбой! и вдобавок прегордо руку буду протягивать христа ради. В довершение этот тяжелый 1843 год навеки нас разлучил с благородным Никитой Муравьевым. Грустная и неимоверно обидная была его смерть для всех тех, которые его любили. Тогда только разнеслась весть о его болезни, как уж он умер. Точно будто его положили под стакан—дунули—и его не стало [1]). Нонушка принята в Московский Ек[атерининский] Институт и уже уехала. Их дом теперь во всей силе слова кажется пустым.

Но вот и листок мой приближается к концу. Пожми от меня руку Оболенскому и поблагодари его за приятную минуту, которую он мне доставил. Вот в чем дело: я сюда приехал водою; меня высадили на берег в 35-ти верстах от Туркинских вод; это был лагерь или бивак каких-то рыболовов; молодые неводили, старики одни были дома. Вот я велел поставить самовар, уселись на траве и пошла беседа! Что ж бы ты думал? Не прошло двух минут, как другого разговора не было, как об Оболенском [2]), да об Шимкове [3]); не знаю, как почуяли они во мне их товарища, и конца не было их рассказам, их непритворным похвалам, их искренним благословениям! Признаюсь, какое то чувство гордости овладело мною, и я поневоле подумал: ох, эти людоеды, ох, эти кровопийцы! Бросишь их в какое-то захолустье! Смотришь... их и там чтут, любят и уважают!

Но будет болтать, обнимаю тебя от души, мой добрый Пущин. Не забывай меня, всегда твой Вадковский.

Твои два рисунка спасены; но Медведниковы пристали ко мне, чтобы один из них срисовать. По приезде в Иркутск я их возьму и доставлю тебе. [Приписано на полях:] „Спасибо тебе, что ты сберег мою тетрадь“ [4]).

---

[1]) Болезнь и смерть Н. М. Муравьева подробно описана Волконским в письме к Пущину от 22 мая 1843 года.

[2]) Оболенский уехал из Етанцы в 1841 году.

[3]) Иван Федорович Шимков—декабрист, член о-ва Соединенных славян, осужден по VI разряду; на поселении был за Байкалом в Верхнеудинском округе. Умер в 1837 г.

[4]) Письмо это писано Вадковским за четыре месяца до смерти: он умер 7 Января 1844 года.

ПИСЬМО Е. П. ОБОЛЕНСКОГО К И. И. ПУЩИНУ

17 октября 1839 года.

Милый друг Пущин. Твое письмо из Иркутска, от 2 сентября, получил я 11 октября: не понимаю, как оно могло итти так долго; но я рад был, что оно наконец достигло своего назначения и довольно меня порадовало:—с последним моим письмом от сентября я много тебе говорил о всем, что около меня жило и двигалось, и признаюсь тебе, что вылив все, что было на сердце, я и забыл о чем с тобою беседовал; если будут повторения, то не взыщи ради старости моей, которая по маленьку на меня накидывает свои тяжелые вериги; много в течение месяца прошло впечатлений горьких и сладких, скажу тебе по истине, что иногда будущность моя меня пугает: безлюдие тяжко и невыносимо; не скажу чтобы я не имел здесь сношений с людьми, напротив, они беспрерывны, но не в том роде, в каком я бы желал; но при всех неудобствах я не оставлю своего гнезда доколе не исполню того, что желаю для тех, которые будут со мною, и доколе будет возможность существовать без нравственной потери;—испытание моих сил на новом поприще продолжится месяцев 6 или более; потом скажу тебе, что выйдет из долгого моего советывания. О себе расскажу тебе следующее: во-первых, я живу в горнице довольно пространной, светлой, немного более нашего каземата: через сени в избе будут жить Крашенинниковы, следовательно, весь дом подо мной; хозяева перешли в новую избу, которую я им выстроил из амбара; против моих окон двор загороженный: в нем две лошади Крашенинникова, третья моя; корова моя и два теленка;—за всеми этими животными смотрит старый бурят, честный и добрый мужик, которого я взял к себе и надеюсь

сохранить. Вот пока все мое хозяйство, будущее неизвестно; не знаю, сохраню ли и нынешнее, потому что сена понадобится много, а у меня заготовлено мало; вообще, любезный друг, вся эта часть составляет тоскливую сторону нашей жизни, но по привычкам и образу жизни она почти необходима; в моей слободе одна только горница довольно хорошая и удобная: это та, которую я занимаю; но хозяйка решительно ничего не умеет стряпать, кроме своего карымского чая [1]) и простых своих щей; сверх того дети, хозяйство, составляют главное ее занятие; запасов у них нет никаких;—следовательно, все, что бы я припас для себя, ушло бы на их семью безвозвратно; кроме того, бедность влечет за собой и нечистоту, которая отвратительна; взвесив все эти неудобства, решительно скажу, что здесь можно жить без хозяйства только в то время, когда сам будешь себе стряпать нужное: если это не умеешь или не можешь, то должно отделиться и жить своим домом; я избрал последнее; не скажу, чтобы оно было дешево, но со временем, когда будет свой хлеб и свое сено, расходы уменьшатся значительно; на щет бедности и нищеты здешних жителей, то молва об ней не преувеличена, но где ее нет: я думаю, что нет в мире уголка, в котором большая половина жителей не находилась в этом положении; но кроме особенных несчастий, нечаянного падежа или семейного расстройства, честные и хорошие люди находят способ пропитать себя и семью, хотя и не богато, но сносно по здешнему месту; что касается до моего образа жизни и занятий, то скажу тебе, что доселе все в каком то брожении и волнении: в первый месяц я пользовался хорошею погодою, гулял и бродил по целым дням; теперь уже с месяц, как у нас всякий день снег валит с утра до ночи; это время сижу дома, но не без дела: между прочим, хожу за больным чахоточным мальчиком 17 лет, моим соседом: это сын нашего пономаря; я его застал еще на ногах, но с чахоточным кашлем; с началом сентября он уже не мог выходить и был при смерти; так как я не лечу и не даю лекарств, которых у меня нет, то мое дело состояло только в том, что я отвратил родителей от тех средств, к которым они прибегали, чтобы его лечить: его поили

[1]) Нисший сорт кирпичного чая.

дегтем, всякого рода травами, всякой дрянью и хотя, может быть, не усилили болезнь (в чем, между прочим, сомневаюсь), но пользы не приносили; одним словом, я больного лелею, кормлю хорошею пищею, даю ему во-время лекарство, которое ему дал проезжий лекарь, сажаю в ванны, и этим хождением успокаиваю его; теперь, слава богу, он лучше прежнего, но не знаю продлит ли господь дни его и даст ли ему здоровье; временно ему бывает легко, а по временам—он в отчаянном положении; вот тебе, милый друг, отчет в занятиях, в которых участвует сердце: мой понамаренок занимает меня и утром, и вечером, об нем я скорблю и по временам радуюсь; остальное времи проходит между делом и бездельем: хожу за моими животными, кормлю их и частию радуюсь ими, потому что они меня знают и на голос мой приходят; и в этом, милый друг, есть некоторое наслаждение; благосостояние этих животных зависит от меня и от моей заботливости: хороший корм, своевременное пойло, маленькие удобства местные делает их веселыми и готовыми на всякую службу. Замечательный пример инстинкта этих домашних друзей видел я недавно и удивился виденному, между тем, как в крестьянском быту это случается всегда и везде: маленький сыночек моего хозяина—двухлетний парень прездоровый и пресильный; вхожу я к ним однажды в избу и нахожу Стеньку с курицей в руках—эта курица его игрушка—он ее теребил, мял, брал за одно крыло, брал за другое, курица молчит и ни в чем ему не препятствует; долго он с ней возился и, наконец, положил ее боком на лавку; я думал, что курица вскочит и побежит, обрадовавшись свободе,—вышло напротив: она лежала на том же месте, пока мальчишка не взял ее опять и не посадил в шесток; таких примеров ты найдешь много на всяком шагу; но я заболтался и, кажется, не на шутку; пора тебе сказать несколько слов о родных. Начну с нового зятя: ты знаешь, что я давно не имел писем от Наташи [2]): это меня беспокоило; наконец, получаю письмо от зятя вместо сестры: он меня уведомил подробно о Наташе, о ее здоровье, о домашнем счастии его и о любви к ней всего семейства; одним

[2]) Кн. Наталья Петровна Оболенская, младшая сестра Евгения Петровича, в 1839 году вышла замуж за кн. Александра Петровича Оболенского, вдовца 50 лет, имевшего уже взрослых детей от первой жены.

словом, он мне сказал все, что мог утешительного, и умолчал, что пишет сам потому, что Наташа не в силах была держать перо: это письмо много меня порадовало, как выражение доброй души моего нового родственника; вслед за его письмом и Наташа написала сама и успокоила на свой щет; брат Константин писал однажды, но послал мне исправно книги, о которых я его просил. Сестра Леонтьева [1]) пишет аккуратно каждый месяц, и по обычаю рассказывает обо всем, что у ней делается, и что случается в ее семье, с радушным простосердечием. От Вареньки [2]) получил я, наконец, предлинное и премилое послание на прошедшей почте; ты знаешь ее письма, и порадовался бы вместе со мною ее любящей и милой душе; теперь и я лишился наслаждения читать письма твоей милой семьи и, признаюсь, не мало сожалею об этом, не по пустому любопытству, а по чувству высшему: и тебе, милый друг, не менее себя желаю, чтобы ты разделял со мною то, что в родных меня истинно радует. Всего передавать нельзя, но характеристику моих писем я тебе буду сообщать по временам. О здешних товарищах наших не могу тебе сообщить ничего любопытного, потому что едва и сам знаю об них что нибудь особенное; Глебов для меня еще не существует, хотя близкий мой сосед: нас разделяет Селенга, но грань непреходима. Пора кончить письмо и дать отдых тебе.

Прости, твой верный друг Е. Оболенский.

---

[1]) Мария Петровна замужем за С. Леонтьевым.
[2]) Варвара Петровна замужем за А. Прончищевым.

ПЕРЕПИСКА И. И. ПУЩИНА С Н. В. БАСАРГИНЫМ И И. Д. ЯКУШКИНЫМ ПО ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ.

В конце 1841 г. Н. В. Басаргин получил разрешение перебраться из Туринска в Курган. По дороге он заехал в Ялуторовск, где жили на поселении декабристы И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, В. К. Тизенгаузен и А. В. Ентальцев. Басаргин привез Якушкину письмо от И. И. Пущина. В Ялуторовске Басаргин пробыл три дня и все эти три дня проговорил, вернее, проспорил, с Якушкиным на тему, как жить декабристам на поселении.

Далеко не все декабристы получали в Сибири деньги от родных из России. Некоторые не стеснялись в средствах, как Муравьевы—Никита и Александр, Волконские, Трубецкие, Ивашевы, Анненковы, Свистуновы, Басаргин; другие могли жить безбедно—как Пущин и Якушкин. Но многие не получали ничего. В Чите и в Петровском таких неимущих поддерживала образовавшаяся артель, в которую богатые вносили деньги за бедных и малоимущих. Бедные мирились с таким положением, так как в тюрьме вообще жили дружно. Но один раз всетаки вспыхнул протест против такой милости со стороны богатых, как об этом рассказывают в своих „Записках“ Якушкин и Завалишин. С выходом на поселение положение бедных становилось еще тяжелее. Правда, кроме так называемой „Большой“ артели, образовалась также и „Малая“ артель для поддержки выходящих на поселение. Но средств у этой артели было мало, и поселенцам выдавалась только некоторая сумма на обзаведение. Перед неимущими резко вставал вопрос: чем же жить? Некоторые пробовали заниматься земледелием, напр., Волконский, Оболенский, Беляевы; Лисовский и Аврамов промыш-

ляли по Енисею рыбой; Муханов и Вадковский пробовали вести сравнительно крупную торговлю хлебом; Горбачевский то занимался мыловарением, то брал на себя извозный подряд. Надо было чем нибудь жить. Хотя, надо сказать, все эти занятия, по большей части, мало приносили пользы. Были, конечно, и такие декабристы, которые хоть и не много, но достаточно получали из дома, чтобы как нибудь существовать. Тут сталкиваются два взгляда—Басаргин говорит: „мы должны работать", Якушкин: „чтобы не быть в тягость родным, надо всячески себя ограничивать". Якушкин видел, что некоторые занятия, как, например, широкая торговля, становились уже не работой, а аферой, которая накладывала на людей определенный отпечаток; приходилось поступаться нравственными принципами. Якушкин очень этим огорчался. Басаргин менее замечал отрицательные стороны таких занятий, сам он был достаточно состоятелен, чтобы не искать „работы"; но он был человек практический и поддерживал в других это стремление.

Племянник И. И. Пущина—Гаюс задумал приехать в Сибирь и заняться золотоискательством. И дядя его поддался на этот план и хотел стать в этом деле его товарищем. Это известие, которое Басаргин вместе с письмом Пущина привез в Ялуторовск, очень огорчило Якушкина. И Басаргин, приехав в Курган, и Якушкин—сейчас же написали Пущину о своем споре.

ПИСЬМО И. И. ПУЩИНА К И. Д. ЯКУШКИНУ.

7-го марта 1842. Туринск.

С Пенженским[1]) я сказал вам несколько слов, добрый мой Иван Дмитриевич. Не знаю, удастся ли теперь много с вами поболтать. Приезд Оболенского, отъезд Басаргина как-то совершенно привели в беспорядок обыкновенный мой день. Н[иколай] В[асильевич][2]) пробудет у вас денька два, и вы успеете с ним поговорить о нашем здешнем житье. На будущей почте я отправляю письмо об нашем переезде из Туринска. Пишу к Горчакову; письмо мое доставит ему сестра моя. Мы просимся с Оболенским в Тобольск, а если нельзя туда, то в Ялуторовск. Вероятно, будет последнее—и мы, может быть, поживем вместе. Назначение Тобольска с общего нашего согласия с Оболенским и по желанию сестры Annette[3]), которая, узнавши от меня, что Басаргин перебирается в Курган, пишет мне, чтоб я окончательно просился в губернский город. К ним недавно приехал Гаюс, мой племянник, которого Мих[аил] Алекс[андрович] и Нат[алья] Дм[итриевна][4]) зарядили этой мыслию. Для нее собственно привлекает Тобольск скоростию в доставлении писем и возможность хворому брату иметь, на случай нужды, под рукой доктора. Оболенской видит тут Пушкина[5]), а я предчувствую, что и вы скоро туда переедете. Одним словом, в нашем совете решено таким образом это дело и предоставляется судьбе сделать выбор. По-моему, нас в Тобольск не пустят,

---

[1]) В письме от 28 февраля Пущин пишет: „Казак Пежемский везет вам 4 стопы бумаги“.

[2]) Николай Васильевич Басаргин.

[3]) Анна Ивановна Пущина—сестра декабриста.

[4]) Фон-Визины.

[5]) Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин—декабрист, жил на поселении в Тобольске.

тогда мы к вам явимся. Не скоро все это еще будет. Не слишком даже уверен, чтоб нас двинули отсюда. Увидим, будем ожидать. Пожалуйста, не сетуйте на нас, почтенный друг Иван Дмитриевич, на это условное решение и не приписывайте его недостатку желания быть с вами на одной точке земного шара. Я обязан соображаться с желанием родных и по возможности успокаивать их всеми средствами, а между эти средствами главное место занимает переписка. Annette, бедная, с восторгом получила мои тобольские листки—в месяц получала ответы на свои вопросы. Впрочем, я надеюсь, что вы меня довольно знаете; не нужно уверений в чувствах, где никакого рода подозрительности или ревности не может и не должно существовать. Оболенской отрывками мне все толкует обо всех и об вас. Сейчас от него узнал, что к вам будет гостья [1]). Может быть вы вместе увидетесь с Басаргиным. Воображаю, как вам приятно будет это свидание. Зачем Мих[аил] Александрович не двинулся сам?—Замечаете, как бестолковы до сих пор мои росказни с Оболенским. Он беспрестанно приходит ко мне, и мне не редко случается побежать к нему. По отъезде Басаргина мы усядемся на своих местах и начнем думать и действовать как умеем. Не нужно вам говорить, что Оболенской тот же оригинал, начинает уже производить свои штуки. Хозяйство будет на его руках—а я буду ворчать. Все подробности будущего устройства нашего, по крайней мере предполагаемого, вы узнаете от Басаргина. Если я все буду писать, вам не о чем будет говорить—между тем вы оба на это мастера. Покамест прощайте. Пойду побегать и кой куда зайти надобно. Не могу приучить Оболенского к движению.

8-е. Почта привезла мне письмо от Annette, где она говорит, что мой племянник Гаюс вышел в отставку и едет искать золото с кем-то в компании. 20-го февраля он должен был выехать; значит, если вздумает ко мне заехать, то на этой неделе будет здесь. Мне хочется с ним повидаться прежде нежели написать о нашем переводе; заронилась мысль, которую, может быть, можно будет привести в исполнение. Басаргин вам объяснит в чем дело.

---

[1]) Наталья Дмитриевна Фон-Визина.

Пригнал к самому отъезду Басаргина. Он вам отдаст Bernardin de St Pierre [1]) и ваши книги, которые у меня, слишком год гостили: Montaigne [2]), Рейц [3]) и пр.—Вы по принадлежности отдадите их Матвею Ивановичу с благодарностию.

Любимова давно не видал, он в Ирбите. Знакомство наше еще не совсем установилось, я его просил не щитаться визитами, а просто приходить, когда вздумается. Семьи его не знаю. Катались с ним на горе 1-го марта, с тех пор не встречались. Туринск ему не нравится: он на него смотрит, как на переходное место. Кажется, его сношения со мной несколько его затрудняют. Впрочем, теперь еще ничего не могу сказать об нем положительного. Увидим, что будет дальше. Вижу желание служить бескорыстно, а между тем заметна привычка жить открыто с некоторою роскошью. Не знаю, как это уладится. Во всяком случае и фигура его и образ изъяснения заметен между здешними д и к и м и. Невольно вспомнишь Лунина, при этом выражении, которое у меня вошло в привычку.—Пожалуйста не отпускайте казака, провожающего Басаргина, без письма. Поговорите мне о Карол[ине] Карл[овне] и вообще обо всем, что у вас делается. Скажите словечко о новобрачных, как вы все это нашли?

Извините меня перед почтенным Степаном Яковлевичем. [4]) Не пишу к нему и сегодня. За суетами, голова идет кругом. Заранее не имею привычки приготовить письма. Он меня простит, я в этом уверен. Пожмите руку Матвею Ивановичу [5]), Марье Константиновне [6]) поклон. Густиньку [7]), со всеми ее близкими, целую; миллион приятностей всем старикам обоего пола и в париках, и без париков.

Колокольцы уже на дворе. Едем в Коркину [8]).—Прощайте, добрый друг Иван Дмитриевич. Крепко вас обнимаю.

---

[1]) Bernardin de St Pierre (1737—1814)—французский писатель. В его произведениях уже появляются черты романтизма.

[2]) Montaigne—французский писатель XVII века, моралист.

[3]) Рейц (1733—1790)—профессор философии Лейпцигского университета.

[4]) С. Я. Знаменский, священник в Ялуторовске.

[5]) Матвей Иванович Муравьев-Апостол.

[6]) Мария Константиновна—жена декабриста М. И. Муравьева-Апостола.

[7]) Августа Павловна Сазонович.

[8]) Коркино или Коркинское—первая почтовая станция от Туринска на Тюмень.

Хотелось бы мне вам сделать отводку от моей камелии, но не знаю, как это уладить. Ваша погибла, верно, от слишком теплой комнаты. Моя зеленью свежа. Цветов еще нет, и не знаю, будут ли.

Петю Ивашева записали в гильдию. Опекун их Головинской уже с ними; он вышел в отставку и соединились с сиротками. От Марьи Петровны [1]) довольно часто получаем письма. Она и все малютки здоровы.

Еще вас обнимаю.

Верный вам И. П.

Спасибо вам за все, что вы мне говорите о письме Егора Антоновича [2]). Я знал, что вы прочтете с восторгом его строки. Посылаю вам и Матвею Ивановичу Les Nouvelles Genevoises [3]). Проглотите их и непременно возвратите с казаком. Я их начинаю переделывать на русские нравы, но хочу чтобы вы прочли эту книжку. Скажите, как она вам полюбится. Я поставил NB на Bibliothèque de mon oncle.

Басаргин вам расскажет все, что я не договорил. Мне тяжело с ним расстаться, в нем много хорошего: я ценю его дружбу и заботливость обо мне во все время моего пребывания в Туринске.

В Кургане ему будет лучше. Вся наша жизнь в разлуках. Пишите пожалуйста, не молчите, бога ради.

Радивоновне бью челом. Часто вспоминаю эту добрую женщину. Вы ни слова не говорите о магнетизме. Зачем такое долгое молчание на этот счет. Все-таки кончу. Когда нибудь опять поболтаю.

---

[1]) Мария Петровна Le Dantu—мать Камиллы Петровны Ивашевой, бабушка сирот.

[2]) Егор Антонович Энгельгардт был директором Царскосельского лицея, когда там кончали курс Пушкин и Пущин. Письма его к Пущину проникнуты необыкновенной бодростью.

[3]) „Nouvelles Genevoises" — сборник рассказов швейцарского писателя Тепфера (1799—1846 г.), иллюстрированный им самим. Первое издание вышло в 1841 году. Книгу эту прислал Пущину Энгельгардт, советуя перевести ее на русский язык.

ПИСЬМО Н. В. БАСАРГИНА К И. И. ПУЩИНУ.

Март 1842 г.
Понедельник.

Любезнейший Иван Иванович. Кое-как мы добрались до нашего Кургана, дорога и погода во все время были ужасные; к счастью, что сильная вьюга, которая, вероятно, была и у вас, застала нас в Ялуторовске, а то бы пришлось провести ночь на поле под снегом. Мы приехали сюда вчера, т. е. в воскресенье, и, следовательно, ровно неделю были в дороге. В Ялуторовске провели мы более трех суток, и все это время были неразлучны с Якушкиным и Муравьевым — они приняли нас как родных.—Ентальцев поразил меня,—у него паралич подействовал на мозг и сделал его идиотом—смотрит в глаза, улыбается и медленно скажет бессмыслицу.—Жена его мне не понравилась, своим романтическим тоном и излишними ласками, за то Муравьева очень мне полюбилась, добрая, скромная и простодушная женщина — у них надобно поучиться жить, все хорошо и прилично. Старик Тизен[гаузен]—чудак, но кажется сохранил память, рассудок и характер. С Якушкиным мы много говорили об вас и много спорили. Я, кажется, объяснил ему все до вас относящееся, так как вы хотели. Он во многом не согласен с нашим образом мыслей, — в особенности на счет прибыльных занятий. — Он утверждает, что нам всем, а еще более вам, не следует думать о приобретении, и что для вас есть еще один способ приобретать: это как можно меньше издерживать и во всем себя ограничивать. Доводы его, впрочем, не сильны, и во многом он должен был со мной нехотя согласиться. Il aime un peu à disputer [1]).

[1]) „Он немного любит спорить“.

Например, он не верит чтобы ваши семейные денежные дела были в расстройстве, и не хочет слышать, чтобы 2 или 3 тыс. рублей, которые вы должны получать от своих, могли делать им какую нибудь разницу. Все что я могу сказать обо всем, что мы с ним толковали, это то, что он нисколько не поколебал моего убеждения, и я остался совершенно при прежнем своем мнении, что наша обязанность трудиться и для себя и для своих, лишь бы только это было согласно и с нашими правилами и с нашей совестью. — Он, конечно, сам вам будет писать с казаком и вы увидите, все его возражения. Я решительно не видал, как прошли трое суток в Ялуторовске,—так хорошо нам было там. Епанчиных видел, отдал посылку вашу и побранил Фед[осея] Фед[оровича] [1]. У них больна при смерти мать. Покупки ваши также передал по принадлежности и довез их в целости. Скажите Оболенскому, что я исполнил одно только его поручение—купил...[2]) для Муравьева—остального же не мог найти в Тюмени, потому что приехал туда, когда отворены были только две лавки, и уехал рано поутру. Заходил в аптеку и, сколько ни оставлял меня Унгерн обедать, но я не согласился, потому что хотелось к вечеру поспеть в Ялуторовск, и очень хорошо сделал, потому что тогда бы пришлось ночевать в поле. Ночью поднялся такой буран, что нас бы занесло снегом.—Мы говорили с Унгерном о Пестице, и он убедился тоже, что этот человек лгун и совершенно неспособный. В Тюмени он тоже много задолжал и хотел было вовлечь его и Дизден в денежные с ним счеты, но они от этого как то избавились.

Местоположение и сам город Ялуторовск нам всем очень не понравился. Как-то он очень разбросан и больно некрасив. Я познакомился там с протоиереем Знаменским—достойный человек. Мы были у него с Якуш[киным] и Мур[авьевым]. Недостающую стопу бумаги не посылайте он может обойтиться без нее. В Кургане мы остановились в доме Свистунова, который теперь принадлежит Ив[ану] Сем[еновичу]. Старик принял нас с таким радушием, что нельзя было и подумать

---

[1]) Федосий Федорович Епанчин, ялуторовский знакомый И. И. Пущина.
[2]) Неразобрано.

о другой квартире; впрочем, домик совершенно по мне— 4 теплых и хорошеньких комнаты и все нужное для хозяйства, даже маленькая кухня с плитой. Швейковский живет во флигеле отдельно от нас,—до сих пор я еще не могу решительно сказать, кто у него—простая ли стряпка или... во всяком случае le decorum хорошо соблюден. О Свистунове ничего еще не могу сказать вам—боюсь соврать, потому что еще не успел здесь оглядеться и хорошо узнать все. Одно только положительно, что все те, которые говорят об этом, убеждены, что у него несчастный и неуживчивый характер.—Жена его не очень понравилась нашим в Ялуторовске. Бриген и Башмаков меня поразили—первый своей молодостью и легкомыслием молодого человека, второй своей болтливостью. Я еще у них не успел быть—ноньче пойду. Вчера я только был у городничего и Мерного, своего старого знакомого. От последнего я слышал, что Ст[епан] Мих[айлович][1]) в ссоре с князем[2]) и думает выйти в отставку. Это меня удивило. Я забыл сказать вам, что Анненков, по просьбе брата, произведен в статские юнкера, т. е. по высочайшему повелению помещен в канцеляристы 1-го разряда. Это сказывал мне Якушкин. Он и Свистунов живут в Тобольске dans le grand monde, ездят на все балы и должны будут делать и у себя вечера. Вы заметите, любезнейший друг, из письма моего, как спешу я—сегодня надобно весь день хлопотать на базаре, потому что кончается ярмарка, и у нас ничего нет для нашего хозяйства.—Казак непременно хочет, чтобы его отпустили сегодня по утру.

Крестник ваш хорошо перенес дорогу, много кричал, но за то и много спал. Жена моя и С[тепанида И[вановна] [3]) дружески и от души вам кланяются. Они разбиты от худой дороги.—Не забывайте нас добрый друг наш, и будьте уверены, что чувства мои к вам никогда не изменятся. Оболенского крепко обнимите за меня и всех нас. От всей души преданный вам.

---

[1]) С. М. Семенов, декабрист, служил чиновником в канцелярии Главн. Управл. Запад. Сибири.

[2]) Князь Д. П. Горчаков,—генер. губер. Западной Сибири.

[3]) Степанида Ив. Маврина—теща Басаргина.

Курган мне понравился. Городок препорядочный и на взгляд веселый. Не знаю как будет дальше, но кажется здесь можно будет жить и поладить со всеми. Поклонитесь от нас всех всем общим нашим знакомым. Хотелось бы еще поговорить с вами, но ей-ей некогда: спешу итти заниматься вещественным...... обнимаю вас.

Матрене Григорьевне поклонитесь от всех нас, жена хотела было написать ей несколько слов, но, право, некогда, мы еще не успели разобраться.

Душевно вам кланяюсь, добрый Иван Иванович, и прошу вас не забывать нас [1]).

Жена непременно хотела написать к вам хоть два слова. У нас есть в доме кое какие мебели и, между прочим, славный... [2]), до которого она едва могла достать руками, за то ни одного стула, и я пишу к вам стоя. Как только осмотрюсь и уберусь с первою почтою буду много говорить с вами. Уведомьте меня, когда и куда вы будете проситься. Кастрюльку и чемодан посылаю к вам.

---

[1]) Эти строчки—рукой жены Басаргина—Марии Елисеевны

[2]) Неразобрано.

ПИСЬМО И. Д. ЯКУШКИНА К И. И. ПУЩИНУ.

1842. Ялуторовск. Марта 17.

Казак, проводивший Басаргина, возвратился из Кургана, и мне почти совестно, что я, в его отсутствие, неуспел написать к вам. Дело в том, что все эти дни я не очень был здоров— сплю ночью, сплю и днем и все спать хочется; впрочем, это обыкновенная моя болезнь, прежде посещавшая меня очень часто, и про которую в последний год я совсем почти забыл.

Много благодарю вас за бумагу и другие присланные вещи, все эти покупки доставили вам более хлопот, нежели я думал, и перед другим я пустился бы в извинения при этом случае, но перед вами не смею.

Николай Васильевич пробыл в Ялуторовске почти четверо суток, все это время мы были с ним, разумеется, неразлучно, жена и теща его были также почти беспрестанно с нашими дамами; вероятно, он сообщит вам впечатление произведенное над ним пребыванием его с нами. С моей стороны, я очень рад был с ним увидеться и потолковать с ним о многом и многих и особенно об вас, мой любезный друг. В первый вечер по приезде его, мы провели с ним часов пять глаз на глаз. Он мне рассказывал про ваше житье-бытье в Туринске и, наконец, начал меня уверять, что дела ваши и вашего семейства в совершенном расстройстве, что вам необходимо пуститься в какие нибудь обороты и что даже вы готовы на это; я с ним спорил до нельзя—и пустился в свою очередь уверять его, что он вас нисколько не понимал и не понимает. При каждом моем сильном натиске он очень хладнокровно ссылался на ваше письмо, которое лежало передо мною нераспечатанное. Прение наше продолжалось далеко за полночь, и, расставшись с ним, я тотчас прочел ваше письмо, из которого вижу, что

вам предстоит какое то поприще, совершенно мной для вас не предвиденное; ради бога, потерпите мою дерзость: я никакой не имею возможности представить себе вас именно золотопромышленником и искателем золота—на что оно вам? Вы прожили более сорока лет, нисколько об нем не думая, и, сознайтесь, прожили их, благодаря бога, не дурно. Понимаю, что вам может иногда приходить на сердце желание не обременять отца и братьев необходимыми на вас издержками и особенно, если денежные дела их не совсем в порядке; но подумайте, что в случае пребывания вашего с ними вместе, ваши издержки из общего достояния могли бы быть несравненно значительнее, нежели они теперь; к тому же от нас всегда зависит много уменьшить наши издержки, и для вас это тем удобнее, что вам скоро предстоит перемещение, а я по себе знаю, что в новом месте всегда удобно распорядиться расходами. Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно менее хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но зато и положение наше не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? И что же после этого нам останется? Я сам не очень понимаю, откуда взялась у меня смелось написать к вам все то что я написал и очень чувствую, что почти беспрестанно ожидаю от других несравненно более, нежели сам могу сделать или сделал бы на их месте, и от вас еще требую более нежели от других, а почему именно, вы может быть отгадаете.

Насчет перемещения вашего в Тобольск или Туринск, кажется, и задуматься нет возможности—удовольствие родных ваших получать из Тобольска неделею ранее, нежели из Ялуторовска, ваши письма не должно стать на ряду ни с какими другими для нас, или даже для вас, приятностями.—Во всяком случае и по всем вероятностям, в нынешнем году мы с вами увидимся. Из Тобольска в Туринск вы проложили дорогу на наш город. Надеюсь, что обратно вы нас не объедете. Но до приятного этого свидания еще долго—пожалуйста, напишите на что ре-

шил вас проезд Гаюса? Nouvelles Genevoises я прочел с удовольствием—все они недурны, а некоторые и особенно последняя мне очень понравились. La bibliothéque de mon oncle заключает в себе наиболее происшествий, рассказанных довольно простым слогом, и, кажется, не представит большого затруднения для переводчика. L'Heritage также рассказана живо и хорошо, но некоторые суждения в ней может быть не совсем понравятся цензору. Впрочем, это уже будет дело Егора Антоновича. Вероятно, по получении этой книжки, вы приметесь за работу—и в добрый час! Жданная нами гостья [1]) не бывала и, вероятно, не будет. Bernardin de St. Pierre я уже пустил в ход, дал его читать Василию Карловичу; [2]) у Матвея Ивановича [3]) и у меня есть пока другое чтение. Вы, вероятно, на нас не взыщете, если мы продержим некоторое время эту вашу книгу. На Любимова я немного подосадовал, что он не дал вам знать об отправлении обратно людей, которые везли его вещи из Ялуторовска в Туринск. О вас он иначе не пишет к Александре Васильевне, как с восклицательным знаком, и потому непонятно почему он у вас редко бывает; если можно—не теряйте его из виду. Может быть, для него еще есть возможность воздержаться от взяток. О Каролине Карловне [4]) ничего особенного сказать вам не имею чего бы вы не знали прежде. Перед отъездом ее Никита Михайлович был два раза в Оёке и в последний раз приезжал нарочно с ней проститься. О новобрачных [5]) также почти ничего написать вам не могу. Кажется, она женщина очень не глупая—и он ее страстно любит. Бог даст, они будут щастливы. В Тобольске им пока очень хорошо. Матвей Иванович вчера получил от него первое письмо с тех пор, что мы с ним в последний раз расстались. Он пишет, что масленица их сокрушила беспрестанными увеселениями, но что

---

[1]) Наталья Дмитриевна Фон-Визина, жена декабриста, которая собиралась приехать в Ялуторовск повидаться с друзьями. Она и приехала, и прожила несколько дней.

[2]) Тизенгаузен—декабрист.

[3]) Муравьев-Апостол.

[4]) Каролина Карловна Козмина. О приезде ее говорится в примечаниях к письму Ф. Ф. Вадковского от 10 сентября 1842 года.

[5]) Свистуновы.

пост привел все в порядок и что они теперь живут очень мирно и покойно.—Степану Яковлевичу [1]) передал ваши извинения, и он сам на них вам отвечает. Приятель ваш Федосей Федорович [2]) также принес мне к вам письмо, которое при сем прилагаю. Евгению Петровичу [3]) посылаю два письма, одно от Степана Яковлевича, а другое без надписи от Матвея Ивановича. Впрочем, я и сам напишу к нему несколько строчек. Поклоны ваши все роздал исправно. Дети [4]) вас часто поминают. Родивоновна [5]) вам посылает низкий поклон. Всякий раз, что я читаю ей приветствие в вашем письме, она никак не может воздержаться от восклицания: „И что это за Иван Иванович!" Вероятно, на ее языке это много значит. О магнетизме опять к вам не пишу, предоставляя этот предмет изустному нашему с вами разговору, если бог приведет нас когда нибудь увидаться. Много благодарю вас за желание сделать для меня отводок от вашей камелии. Я думаю лучше подождать с этим делом перемещения вашего из Туринска. Николай Васильевич предлагал мне свою камелию, но я решительно от нее отказался. Но пора кончить; уже за полночь, а мне хочется измарать еще страничку к вашему сожителю. Простите, мой любезный друг. Будьте здоровы и телом и душой. Крепко вас обнимаю.

---

[1]) Степан Яковлевич Знаменский—священник в Ялуторовске.

[2]) Федосей Федорович Епанчин—ялуторовский знакомый И. И. Пущина.

[3]) Евгений Петрович Оболенский—декабрист.

[4]) Вероятно, воспитанницы Муравьева-Апостола—Густинька и Аннушка.

[5]) Родивоновна—хозяйка дома, в котором жил И. Д. Якушкин.

ПИСЬМО П. С. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА К И. И. ПУЩИНУ.

Декабрист Николай Федорович Лисовский и Иван Борисович Аврамов отнесены были верховным судом к VII разряду и осуждены на 2 года каторги и потом на поселение. В 1828 году они жили в Туруханске Енисейской губ. Они сообща промышляли на низовьях рыбу и возили ее на продажу в Енисейск. По тем сведениям, какие до сих пор были в печати [1]) (и в синодике, составленном М. И. Муравьевым - Апостолом), оба они были зарезаны в Туруханске в один день в 1856 г. Но есть определенные данные, указывающие, что И. Б. Аврамов умер еще в 1840 г. В конце 1840 г. пошли слухи, что Аврамов умер. П. С. Бобрищев-Пушкин в декабре 1840 г. запросил об этом Лисовского, ответ которого пришел только в сентябре 1841 г. вместе с копией письма Лисовского к брату умершего Ивана Борисовича—Андрею Борисовичу. Бобрищев-Пушкин прислал Пущину копии с писем Лисовского. Письмо к Пущину Бобрищева-Пушкина и копии с писем Лисовского сохранились в переплетенной тетради писем к Пущину за 1841 г., тетрадь 1-я. В письме Лисовского к Андрею Борисовичу Аврамову подробно рассказывается о болезни и смерти Ивана Борисовича, — он умер 17 сентября 1840 г. Подробности эти передаются, вероятно, по рассказу приказчика, который ехал вместе с Аврамовым, и Лисовский нисколько не заподозревает верность этого рассказа. А между тем, подозрительные слухи все-таки были.— М. К. Юшневская от 6 окт. 1841 г. пишет к И. И. Пущину: „Слухи носятся, будто маленький Аврамов насильственной смертью умер. Будто его приказчик, желая воспользоваться его деньгами, постарался переселить его на вечный покой! Это слухи, но верного не знаю. А правдоподобным кажется".

---

[1]) В „Алфавите" декабристов, только что появившемся в печати, верно указаны год и место смерти И. Б. Аврамова.

1841 года, сентября 22 дня. Тобольск.

Наконец, получил я ответ Лисовского, любезный друг Иван Иванович. Прилагаю копии с обоих писем. Это не вероятно, что мое письмо, писанное в декабре, Лисовский получил только в июле месяце; а между тем, он, бедный, с сиротами в самых затруднительных обстоятельствах. Я пошлю все это к отцу Аврамова через батюшку — его деревня от нас только 100 верст. Но вот в чем затруднение, что я не знаю, какого звания бедные малютки; потому что дельным образом братьям Аврамова должно написать доверенность Лисовскому в такой силе, что он вверяет ему часть покойника в пользу таких-то малолетних, ибо, хотя Лисовский человек хороший, но он смертный, и сироты могут в таком случае остаться без куска хлеба. Кажется, сколько мне помнится, мать их казачка, и потому мальчиков нет никакой возможности исключить из этого сословия. Девочку Прасковья Егоровна [1]) хочет взять к себе на воспитание. Только не может еще придумать, как это сделать. Если бы кто-нибудь взял и мальчиков, например, вы с Оболенским, до поступления их на службу или в казацкое училище, хорошо бы это, но нет никакого способа в этакой дали распоряжаться. Надобно просить графа Бенкендорфа,—самый простой способ,—но надобно знать наперед, согласна ли будет на это мать. Не знаю, застанет ли мое письмо Оболенского в Красноярске—я напишу к нему туда, чтобы он, по крайней мере, распорядился обо всем этом получить достаточные сведения. Хочу также копии с писем Лисовского пустить с этою почтою к Сергею Григорьевичу [2]), не соберут ли они теперь чего для Лисовского — с такою мелкотою, вероятно, он в этот год совершенно разорился. До брата Аврамова, как вы видели, кажется, не дошло его письмо, ибо он не имеет ответа; да и недавно тоже спрашивали из Москвы Нат[алью] Дмитриевну [3]), не знает ли она что об Аврамове, потому что до отца его дошли неверные слухи, будто он умер, а писем от него более года старик не имеет. Все это

---

[1]) Жена декабриста Анненкова.

[2]) Волконскому.

[3]) Наталья Дмитриевна Фон-Визина.

ужасная путаница. А, между тем, я думаю собрать здесь хоть сколько-нибудь, чтобы им послать на первый раз—может быть, им всем и перекусить нечего. Мих[аил] Алек[сандрович][1]), Ст[епан] Мих[айлович][2]) может быть, на днях здесь будет Свистунов, я, Барятинский, вероятно, и Анненков, с вас также с Басаргиным, не дожидаясь ответа, я возьму пошлину по 25 рублей из ваших денег, соберем рублей хоть 250 и пошлем на ближайшей почте. От Киреева[3]) тоже получил письмо. Они там живы и здоровы, кое-как пробиваются, вельми вам кланяются. Однако, прощайте, больше болтать некогда, обнимаю вас, равно и Басаргина. Наши все вам кланяются.

Преданный вам Пушкин.

P. S. Вы с своей стороны тоже напишите в Иркутск, там больше имеют средств и помочь и действовать около генерал-губернатора. Напишите и ко мне, если что придумаете. Беда в нашем положении заводиться детьми, особенно безымянными.

Копия (рукой П. С. Бобрищева-Пушкина).

Письмо ваше, любезный Павел Сергеевич, от 12 декабря 40 года я теперь только получил. Все то, что вы слышали о смерти доброго нашего друга Ивана Борисовича, к несчастью, справедливо. Я потерял его, и с ним — все, в полном смысле слова. Я знаю вы его любили, прошу вас вместе со мною плакать о нем и молиться. Смерть его тем более горька, что он скончался в дороге и так внезапно, что даже не успел написать ни одной строчки, а этим привел меня в самое затруднительное положение. Из прилагаемой копии с письма моего к брату его Андрею Борисовичу, вы увидите все события несчастной его кончины, но я до сих пор не получил от родственников покойника никакого известия и не знаю, дошло ли мое письмо к ним или нет. Проживши столько лет вместе с добрым моим Иваном Борис[овичем], мы ничем не делились, а теперь у меня все описали в пользу его наследников, и

[1]) М. А. Фон-Визин.

[2]) С. М. Семенов.

[3]) Киреев жил на поселении в Минусинске вместе с бр. Беляевыми.

я остался с сиротами почти без насущного, притом три тысячи долгу, и в довершение всего, кредиторы наши начинают уже меня беспокоить. Еще в 39 году ноября 26 покойный Ив[ан] Бор[исович] просил брата своего Андрея Борисовича, как распорядителя имением, о высылке полуторых тысяч рублей на уплату долга из капитала, который отец его отделил на его часть, но деньги эти не были получены, и долг остался. Вот каково мое положение; и неужели родственники покойного захотят воспользоваться бедными крохами, добытыми тяжкими нашими трудами; я прошу вас, добрый Павел Сергеевич, ежели вы знакомы с его братом или отцом, употребить ваше у них ходатайство, опишите им тяжкое положение, в котором я нахожусь, попросите о высылке нужных бумаг на получение мне конфискованного нашего имения и о заплате хотя половины долга, а другую я принимаю на себя; упомяните также и о детях его, которые остались теперь на моих руках; их трое, два мальчика и девочка. Старшему 9 лет, а младшему нет еще и года. Если найдете нужным, отправьте копию Борису Ивановичу с моего письма к ним, потому что, я думаю, они его не получили.

Помогите мне в этом обстоятельстве, добрый Павел Сергеевич, и вы сделаете доброе дело для того, который всегда останется вам благодарным. Поручаю себя вашему расположению и прошу уведомить преданного вам Николая Лисовского.

P. S. Дети целуют вашу ручку и не хотят верить, чтобы вы были не Иван Борисович—ваше письмо они сочли за его.

Июня дня 1841 год. Туруханск.

Копия (рукой П. С. Бобрищева-Пушкина).

Милостивый Государь
Андрей Борисович!

Душевно сожалею, что письмо мое должно чувствительно вас огорчить; как мне ни горько и как ни прискорбно, но должен объявить вам, что я оплакиваю невознаградимую потерю: любимый вами друг и брат ваш Иван Борисович приказал долго жить. Не смею утешать в этой потере, но сам плачу вместе с вами; вы потеряли брата, я схоронил с ним братий, друзей и даже то, что еще несколько привязывало

к жизни. Неумолимая смерть лишила меня даже последнего утешения в горькой нашей жизни.

Мы были вместе на низу для промысла рыбы. 15 августа он должен был отправиться для сбыта нашего промысла в город Енисейск, а мне нужно было остаться дома; не предчувствуя, что я в последний раз его вижу, мы обняли друг друга и расстались. Отошедши же слишком 500 верст, он занемог; началом болезни его был веред на правой стороне носа, от чего сделалась опухоль (это было 14 сентября) и затянуло совсем правый глаз, после этого он начал чувствовать озноб. 15 числа к вечеру опухоль распространилась на другую половину лица, и он не мог уже видеть и левым глазом. В этом положении он оставался до вечера, 16 числа мог еще ходить, но жаловался на сильную боль в левом боку; ночью ему сделалось хуже и около полуночи потерял употребление языка, владение членами; пробыв в таком положении несколько часов, 17 сентября на станции Осиповском [1]) умер, оставя мне столько горя и хлопот, потому что местное начальство, приняв все, что было на судне за собственность его одного, описало и взяло под сохранение; и я теперь только узнал, как неосторожно мы поступили, что не составили акта, по которому бы имущество одного должно принадлежать другому, хотя это и положено было между нами с тех пор, когда начали разделять общую нашу участь. Но вы знаете, Андрей Борисович, мои отношения к нему и что мы в продолжение 13-летней жизни нашей в Туруханске, да и прежде ничем не делились, и все, что мы имели, принадлежало как одному, так и другому; поэтому, надеясь на великодушие и доброту вашего сердца, умоляю, ради памяти любимого вами брата, не лишите семейства моего последнего куска хлеба, откажитесь от крох, добытых нами кровавым потом, и пришлите доверенность или что для этого будет нужно на выдачу мне как рыбы, добытой нами, так и всего теперь конфискованного у нас через его превосходительство господина Енисейского гражданского губернатора. Между тем, вам известно из писем Ивана Борисовича, что дела наши в самом худом положении, и я прибавлю, что

---

[1]) Верст 300 ниже Енисейска.

все то, что у нас теперь находится, принадлежит людям, которые нам верили, и даже не достанет, если ваша доверенность и бог не помогут новым рыбным оборотом поправить дела.

Теперь я должен открыть вам некоторые обстоятельства, касающиеся до прежней жизни покойного нашего друга. По излишней скромности своей он скрывал от вас, что имеет детей, а между тем, он оставил на мое попечение двух человек детей, а третьего через несколько времени ожидаю. Женщина эта 12 лет была подругой его жизни и имела 5 человек детей, но те умерли. А остался мальчик 9 лет, которого зовут Сергеем и который очень прилежно учится, и девочка по 4-му году. Нельзя вообразить, какой живой портрет оставил мне Ив[ан] Бор[исович]. Оба они мои крестники и столь же для меня драгоценны, как и свои дети. Поэтому я прошу вас, ради памяти его, пожалейте невинных этих малюток, которых он горячо любил. Если бы я имел хоть малое состояние, то поверьте, что вы никогда бы этого не узнали; но я обременен семейством, состоящим из девяти человек с детьми Ив[ана] Борис[овича]. Есть очень много, о чем бы нужно было с вами поговорить, но на этот раз вы меня извините и ежели позволите, то я не премину воспользоваться этим! Итак, позвольте надеяться, Андрей Борисович, что вы не откажете помочь мне в моем горе и не замедлите выслать просимую мною доверенность.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть, милостивый государь, ваш покорный слуга

Николай Лисовский.

Енисейск. 1840 г. ноябрь.

ПИСЬМА И. Д. ЯКУШКИНА К Е. И. ЯКУШКИНУ.

Томск 1854. Июля 24-го.

1.

Выехавши из Омска 15-го [1]), мы приехали в Томск 22-го прямо в дом Лучших [2]), его [3]) не было дома и нас не хотели было принять, но это было по недоумению слуги и все дело уладилось потом, как нельзя лучше. С Гаврилом Степановичем мы обнялись не только как товарищи, но как давнишние приятели.

Почти первые его слова были: „А собака Евгений не пишет ко мне“; я его уверил, что ты забыл его адрес, что и в самом деле очень вероятно. После твоего пребывания в Томске, Гав. Степанович далеко ушел вперед, теперь, беседуя с близким человеком, он ничем и нисколько не стесняется. Ты говорил правду, уверяя меня, что он необыкновенно умен: чего он не знает—он во время самого разговора отгадывает по крайней мере настолько, чтобы почти никогда не упорствовать, защищая ложное мнение. Потом, сколько он в свою жизнь видел и

---

[1]) И. Д. Якушкин получил в 1854 году разрешение поехать из Ялуторовска, где он жил на поселении, в Иркутск для лечения. С ним вместе поехал и его старший сын Вячеслав Иванович, который состоял чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири—Н. Н. Муравьеве.

Младший сын Ивана Дмитриевича — Евгений — был в это время а Москве. Он уже побывал один раз в Сибири в 53—54 г. и перезнакомился со многими декабристами, между прочим, и с Г. С. Батенковым. Последний попал в Сибирь на поселение, только в 1846 году. До этого он 20 лет просидел в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Евгений Иванович уже в первый свой приезд в Сибирь сошелся с Батенковым.

[2]) В семье Лучших жил Г. С. Батенков.

[3]) Г. С. Батенкова.

испытал любопытного, и я его слушаю по целым часам, с истинным удовольствием. Говорит он много, но решительно не потому чтобы он был, что называется, говорун; у него, несмотря на то, что ему 60 лет, воображение необыкновенно живо и представляет ему факт за фактом, картину за картиной, когда в разговоре коснешься предмета ему близкого; в таком случае прервать его речь, это как бы прервать его временную внутреннюю жизнь, и он упорно ее защищает, не допуская своих собеседников произнести какое бы то ни было слово, иногда в продолжение часа. Он тебя очень полюбил и признался мне, что питает против меня дурное чувство, завидуя, почему я, а не он,—твой отец, просил меня даже ему уступить тебя, я его уверил, что для тебя будет совсем не лишнее иметь таких двух отцов, как он и я [1]). Теперь было бы очень не худо, если бы ты когда нибудь написал к нему, а надписывай к нему Е. В. Б. Николаю Ивановичу Лучших.

26-го июля.

В Томске мы пробыли долее нежели предполагали пробыть, за переговорами с Бекманом, который не хотел дать прогонов казаку, отправляемому со мной; вчерашняя почта из Омска привезла ему предписание выдать казаку прогоны до Красноярска. Сегодня вся формальная часть нашего отправления будет приведена к концу и завтра мы думаем пуститься в дальнейший путь. В Красноярске придется, вероятно, опять остановиться дня на три и, таким образом, мы почти съедемся с Ник[олаем] Ник[олаевичем]; он должен, по его предположению, возвратиться в Иркутск в первых числах сентября. У меня есть до тебя покорнейшая просьба. Ты мне, кажется, говорил, что у тебя есть в виду, очень хорошая и надежная гувернантка, которая поехала бы в Сибирь, если бы для нее нашлось место в порядочном доме. Казимирский [2]) вдов, и у него единственная 11-ти летняя дочь, единственное его сокровище, девочка

[1]) В последующих письмах к Е. И. Якушкину Батенков постоянно называет его своим сыном.

[2]) Яков Дмитриевич Казимирский одно время был плац-майором в Петровском. В 1854 году он заведывал жандармским отделением в Омске. По общим отзывам декабристов—был очень хороший человек, и многие из декабристов были с ним дружны.

очень неглупая, очень добрая и кроткая, но, к несчастью, очень слабого здоровья и подверженная нервическим припадкам, и потому обходиться с ней должно кротко и с большой осторожностью. Она понимает и говорит немного по-французски, играет также немного на фортепьяно. До сих пор была наставницей ее тетка; но теперь Казимирский находит необходимым взять к ней, если бы мог найти, добрую и образованную гувернантку. Я обещал ему написать тебе об этом деле и обещал еще, что ты дашь без замедления ему ответ через Пущина; а еще бы лучше, если бы ты написал ему прямо в Омск: Его Превосх. Якову Дмитриевичу Казимирскому. Что у него в доме всякой порядочной женщине будет отлично хорошо, в этом нет никакого сомнения; она всегда будет иметь дело с честным и благородным человеком. Огромного жалованья, как например, 1.000 рублей серебром, он дать не в состоянии, это было бы треть его жалования, но и в этом отношении он сделает, конечно, все, что для него только возможно. Уверен, что в этом случае ты охотно исполнишь мою просьбу. Прошу тебя также известить и меня об этом деле. Я ожидал, что последняя почта привезет нам в Томск от тебя письмо, и, вероятно, Пущин переслал бы нам его если бы ты после нашего отъезда написал в Ялуторовск. Евгения Сазоновича [1]) я освободил от его заключения в аптеке, где он решительно не хотел более оставаться, он надеется найти себе место в конторе Горохова; почерк у него не хорош, но вообще пишет он, не делая почти грамматических ошибок. Старший брат его, бывший на приисках, умер; а об отце его надеюсь узнать что-нибудь в Красноярске. Прости, мой милый, до Красноярска, душевно тебя, милую мою Леночку [2]) и двух ваших девочек, по обычаю стариков, обнимаю. Все твои Томские знакомые очень тебе кланяются.

[Рукой Вяч. Ив. Якушкина:]

Толь тебе очень кланяется. Он болен желтухой и уже несколько дней не выходит из дома, он не живет более у Лутчева, потому что флигель переделывается. У Гавр. Степ. на даче мы провели почти сутки—он сама откровенность.

---

[1]) Евгений Сазонович — брат Августы Сазонович, воспитывавшейся в доме М. И. Муравьева-Апостола.

[2]) Леночка—Елена Густавовна—жена Евгения Ивановича.

Красноярск, августа 4-го.

2.

В Томске мы пробыли ровно неделю, ожидая каждый день отправления. О Батенкове я много писал тебе в последнем моем письме, а о Толе не сказал ни слова, с этим я познакомился столько, сколько можно познакомиться в семь дней с человеком его разряда. Что он малый не глупый и довольно образованный, в этом нет никакого сомнения, но в нем есть какие-то странные выходки, которые заставляют меня думать, что понятие его о том, что происходит на белом свете, не совсем ясны. Он в жалком положении, страдает желчью и почти беспрестанно в хандре, но надо отдать ему справедливость, нисколько не жалуется на свои обстоятельства, хотя и видит все его окружающее в лимонном цвете. По твоему приказанию, я оставил ему микроскоп и 39 книг, которые просил его держать у себя столько времени, сколько ему угодно будет. Он дает уроки в двух домах и получает за них 40 р. серебром в месяц; но он может лишиться их по болезни или по каким-нибудь обстоятельствам, и тогда его положение, при его хандре, может сделаться точно ужасно. Из Томска мы выехали 28-го июля вечером, и приехали в Красноярск 1-го августа, в обед. На этом пути тарантас Свербея Свербеича [1]) нам изменил; началось с того, что одно колесо развалилось, и мы простояли целый день за его починкой; приехавши сюды, оказалось, что его надо весь чинить и он будет готов не прежде, как после завтре. Здешние власти обещают отправить нас 7-го. Не доезжая 14-ть верст Красноярска живет в казачьей станице Спиридов, мы к нему заехали. Что за великолепный человек этот Спиридов, он года два меня моложе и не только сохранил свое здоровье, но красавец для своих лет. Обстоятельства его были бы самые безотрадные для всякого другого. У него много близких родных и очень богатых, в том числе кн. Шаховская и кн. Щербатова ему двоюродные сестры, и он не только не получает ни от кого ни копейки, но никто к нему и не пишет, кроме родной его

[1]) Николай Дмитриевич Свербеев.

сестры, которая по временам извещает его о себе, но не присылает ему ничего вещественного, и Михаил Матвеевич, мало того, что не ожесточен затруднениями своего положения, но чистосердечно смеется над ними, говоря, что все это вздор. Он пускался по необходимости в разные предприятия, которые ему не удались, и первый над ними издевается. Теперь некоторые золотопромышленники поручают ему закупку хлеба, и он пока этим кой как существует. Еще из Ялуторовска я писал к Шаховской о тесных обстоятельствах Спиридова, но из последнего ее письма можно подумать, что она не получила моего листка к ней, отправленного с тобой, хоть я и не понимаю, как бы это могло случиться [1]).

Приехавши в Красноярск, мы пристали прямо у Давыдова, где нас приняли как самых близких родных. Хозяйка предобрая и дочери ее премилые и мы проводим здесь время очень приятно. Сам же Василий Львович почти всегда болен и, как говорят, почти всегда в хандре. Жена его, дочери и сам он уверяют меня, что он оживился моим присутствием, и совсем другой человек нежели бывает обыкновенно. У нас с ним столько общих воспоминаний, что точно, может быть, при наших с ним беседах, он забывает настоящее и переносится в былое, в которое не мудрено, что и он и я мы были лучше, нежели теперь.

Теперь нам остается треть пути от Ялуторовска до Иркутска, что то нас там ожидает и как то устроится там наше существование? Дорога не только не утомляла меня до сих пор, но положительно меня укрепила, ноги болят, но гораздо менее нежели болели в Ялуторовске.

6-го.

Прибавить на этот раз нечего; да, если бы и было что, так некогда. Тарантас готов, и, вероятно, мы завтре выедем. Крепко тебя, милую мою Леночку и девочек ваших обнимаю.

---

[1]) М. М. Спиридов умер в декабре того же 1854 года.

III.

ТЕТРАДКА ТОЛЯ.

По делу Петрашевцев (1849 г.) относительно всех подсудимых (21 чел.) генерал-аудиториат постановил: „подвергнуть смертной казни расстрелянием". По высочайшей конфирмации казнь всем была заменена или каторгой на разные сроки, или отдачей в солдаты в Оренбургские или Кавказские линейные батальоны.

Относительно Толя—сказано: „Учителя русской словесности, не имеющего чина, Феликса Толя (26 лет)—за участие в преступных замыслах и чтение на собраниях у Петрашевского речи против религии, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу на заводах на два года". Каторгу Толь отбывал на Керевском винокуренном заводе Томской губернии. В каторге он пробыл два года три месяца. Во втором выпуске Щукинского Сборника (М. 1903) напечатан отрывок из воспоминаний Ф. Толя—„Из записок Ф. Толя 1850 г.". Толь описывает, как в конце января его привезли сначала в Томск, а потом в Керевский завод (Щ. Сб. 2, стр. 137—154). По отбытии каторги, Толь жил на поселении в Томске, перебиваясь кое как уроками. В 1853 году с ним познакомился Е. И. Якушкин, во время первой своей поездки в Сибирь; И. Д. Якушкин познакомился с Толем только в 54 году, как видно из письма его к Е. И. Якушкину из Красноярска от 4 августа 1854 г. В нашем архиве сохранилось несколько писем Толя к Е. И Якушкину—последнее от 1858 г. из Петербурга. В письмах своих Толь подписывается „Эммануил Толь" или просто „Эммануил". Умер Толь в 1867 г.

Тетрадка Толя—в четверку белой бумаги—в 26 листиков, из них 15 исписано мелким ровным почерком Толя. Тетрадка почти без поправок; видимо переписана набело. Большая

часть записей — рассказы декабристов, слышанные Толем в Сибири (гл. обр.—рассказы Матвея Ивановича Муравьева). Рассказы идут без всякого хронологического порядка, без всякой системы. В некоторых рассказах встречаются такие ошибки, которые показывают, что Толь записывал их значительно позднее, когда уже кое-что забылось. Так—вместо Роченсальма — Рочерсальм, вместо Фортслава — Форслава, и другие неточности, которые указаны мною в примечаниях к отдельным рассказам.

[1] Матвей Иваныч [1]) воспитан в Париже, где отец его был посланником [2]). Когда отца его уже не было там, католический священник, преподавая 9 летнему мальчику закон божий, спросил его о чем то, относящемся исключительно к католицизму. Ребенок отвечал, что он православный и не обязан знать этих тонкостей чуждого ему вероисповедания. Аббат уверял его, что все не католики прокляты и ребенок часто спорил с ним, но, наконец, был убежден им, что и сам может спастись и своих родителей спасти только приняв католицизм. Он писал своему отцу, прося позволения принять веру исключительно спасительную. Отец его Иван Матвеич, qui avait quelque chose du XVIII s, [3]) отвечал ему, что он слишком рано задумал решать вопрос, которого решение затрудняет и стариков, но главным образом тронул его и заставил отречься от этого намерения тем, что просил не расторгать единственного узла, связывающего его с далеким отечеством.

[2] В бытность в Гамбурге Дюмурье, этот генерал однажды сидел у Ив[ана] Матв[еича]—Матв[ей] Иваныч, коему было года три, вошел в комнату, зная, что там Дюмурье, но когда генерал хотел приласкать его, уклонился и сказал: что не хочет принять ласки от изменника. Ив[ан] Матвеич, думая, что Дюмурье может почесть эту сцену злонамеренно устроенною

---

[1]) Муравьев-Апостол.

[2]) Отец Матвея Ивановича Муравьева—Иван Матвеевич не был посланником в Париже. До 1800 г. он был посланником в Гамбурге, а затем в Мадриде до 1806 г. Братья Матвей и Сергей жили некоторое время в Париже и учились там в школе; вернулись в Россию в 1809 г.

[3]) „В котором было что-то от XVIII века“.

взрослыми, так рассердился, что ребенок не успел очнуться, как уже был в третьей оттуда комнате [1]).

[3] Михаил Семеныч Щепкин рассказывал, что Репнин однажды взял его с собой на обед, даваемый Трощинским и представил хозяину, как даровитого провинциального актера; несмотря на то его посадили за особый стол одного. После обеда Репнин сделал Трощинскому выговор за эту неделикатность, и Матвею Ив[анычу], который при нем был адъютантом, и за обедом не встал, когда пили за здоровье царя, сказал: „рано свои знамена показываешь!"

[4] При отправлении в заточение в Финляндию, З., который бывал в доме Ивана Матв[еича], спросил Матвея Ив[ановича], сын ли он первого? „Да!"—отвечал он.—Как жаль, сказал З., что у такого прекрасного человека сын такой негодяй.

[5] Когда должны были увезти в Финляндию, Сукин, комендант крепости, которого Иван Дмитриевич благодарил за содержание, отвечал: „я делал все по приказанию государя". Потом, обращаясь к фельдегерю дал ему приказание обращаться с ними строго и при первой попытке их, говорить по французски, заковать их в кандалы [2]).

[6] В крепости Петропавловской у них был весьма хороший человек—офицер внутр[енней] стражи. Их кормили хлебом и водою. Так как Иван Дмитриевич почти не ел, то, боясь чтобы он не уморил себя голодом [3]) Василий Степаныч, (офицер) принес ему белый хлеб, довольно теплый. Скоро должны были прийти требовать его в комиссию. Ив[ан] Дмитриевич не хотел брать хлеба; офицер настаивал и ушел. Тогда, во избе-

---

[1]) Встреча с Дюмурье была в 1799 г.; Матвею Ивановичу было в то время около 6 лет.

[2]) Записки И. Д. Якушкина, изд. 1926 г., стр. 102.

[3]) Булатов, незадолго до 14 принятый в общество, решился умереть голодом. Ему приносили самые отборные блюда, приготовленные для членов комиссии: он отворачивался к стене и лежал неподвижно. Когда ему грозили что силою принудят есть, он отвечал: „Попробуйте! Я очень рад, потому что мне будет менее мучительно, когда вы задушите меня, делая эти усилия надо мною". [Примечание Толя].

жание неприятностей, долженствовавших обрушиться на принесшего, если бы у арестанта нашли булку, Ив[ан] Дмитриевич спешил съесть ее и чуть не умер от несварения желудка и спазм [1]).

[7] Партия, в которой препровождаем был в Сибирь Мат-в[ей] Иваныч и Ив[ан] Иванович состояла из 5 человек и была конвоируема ужасным негодяем фельдъегерем, который не хотел нигде платить прогонов; а там где смотритель требовал их, принимался бить ямщиков, рубить постромки под предлогом, что они не хороши, и неистовствовать [2]). Дорогою попался им князь Кочубей и на вопрос его не имеют ли они каких претензий, Ив[ан] Иваныч: „Очень имеем. Нас ссылают в Сибирь, mais il n'est pas dit dans notre sentence de nous exposer à être témoins des inhumains procédés de ce barbare“ [3]). И рассказал ему поступки фельдъегеря. Князь сказал Матв[ею] Ивановичу, что служит в одном департаменте сената с его отцем, но, как ни желал бы сделать что-нибудь для него, не может. Потом он сказал, что как за ними приказано строжайше присматривать, то он и просит его не подавать повода к доносам.—„Благодарю вас, князь, за эти слова, но сообразите, как могу я не подать повода, если всякий может доносить на меня, а я не имею даже права оправдаться“.—Да, и это правда!—с горестным вздохом сказал князь [4]).

[8] Репин учился в деревне у учителя-дьячка, которому странный отец его поручил, но, как человек очень умный, умел образовать себя сам. Николай П[авлович] допрашивал его и видя, что он очень ловко уклоняется от ответов, воскликнул: „Ну что вы финтите и франтите и штуки выкидываете“.

---

[1]) Записки И. Д. Якушкина, стр. 84.

[2]) Фамилья фельдъ-егеря—Желдыбин (Записки Якушкина, стр. 116).

[3]) „Но в нашем приговоре не сказано, чтобы нас заставляли быть свидетелями безчеловечного поведения этого варвара“.

[4]) Матвей Иванович не был в той партии, в которой везли И. И. Пущина.

[9] Репин жил в Сибири в Алекме [1]). Андреев, служивший с ним в Преображен[ском] полку и бывший с ним в большой дружбе, будучи препровождаем из работы на поселение за Алекму, остановился у прежнего товарища: вечером они легли на соломе и долго разговаривали, так что, забыв погасить свечу, заснули. Андреев задохся у дверей, до которых дополз, Репин даже обгорел. Сказали, что их подожгли, и нарядили следствие, но это оказалось ложью.

[10] Чернышов, способствовавший присуждению всех Чернышовых, требовал себе майората, в 40.000 душ, принадлежавшего деду его. Но общественное мнение было так против него, что дело не удалось. Г-жа Захаржевская, зная, что он в соседней комнате, сказала громко камердинеру, вошедшему с докладом о нем: „ведь я тебе раз навсегда запретила принимать этого подлеца“ [2]).

[11] О г-же Захаржевской, превосходно ездившей верхом и вообще имевшей в манере много мужского, говорили, что она только называет себя женщиной, а что настоящее имя ее Захар Ржевский.

[12] Закревский, приехав в Кексгольм [3]) вошел в комнату Матвея Ив[ановича] и сказал, что сестра последнего, супруга Илариона Мих[айловича] Биб[икова] прислала ему некоторые необходимые вещи; принесли чемодан, и он передал его, но просил позволения вынуть сапоги, кои присланы для Ив[ана] Дмитр[иевича]. Потом собственноручно взял эти сапоги и отнес в каземат Якушкина. Он был бедным армейским офицером, когда однажды быв на ординарцах у Х [4]), этот последний заметил в нем способность к письмоводству и взял к себе

---

[1]) Репин жил на поселении не в Олекме, а в Верхоленске Иркут. губ. (Зап. Якушкина, стр. 158).

[2]) Записки И. Д. Якушкина, стр. 132.

[3]) М. И. Муравьев и И. Д. Якушкин в 1826—1827 гг. содержались не в Кексгольме, а в форте „Слава“, близ крепости Роченсальм (Зап. Якушкина, стр. 108).

[4]) Граф М. Н. Каменский.

в адъютанты.—Будучи генерал-майором, Закревский пользовался прекрасною репутацией.

[13] По возвращении из-за границы после 12 года, военная молодежь вне службы ходила в гражданском платье. Позже найдено, что это подрывает дисциплину и издан указ, запрещавший ношение фрака военным. Какой то молодец, вероятно, для шутки наткнулся на Александра во фраке и в штанах с лампасами. Царь спросил его, как он смеет ослушиваться приказа. Он притворился немцем, рассказал, что прибыл из такого-то (давно упраздненного) егерского полка, стоявшего там-то (где не было никакого полка), что, не имея средств, обедает в харчевне и, не желая марать мундир, одевается в гражданское платье. „Зачем же ты не пошел к Аракчееву?"—спросил царь.—Зачем я, ваше пр[евосходитель]ство, пойду к этому злодею?—сказал шутник, притворяясь, что не узнает Александра.—„Так пойди к Волконскому, он поможет тебе". — Но он не являлся и исчез. А Александр велел арестовать его.

[14] Петр Михайлович Волконский, будучи начальником главного штаба, однажды получил поручение от Александра I ехать к Аракчееву, но воспротивился и сказал, что не находит нужным ехать для этого дела к Аракчееву. Александр, упрашивая его, сказал: „Ты мне докажешь этим свою преданность". —Если я не успел еще в 25 летнюю службу свою, доказать ее, то не думаю, что и этим повиновением успею.—За это он был отставлен.

[15] Когда члены комиссии спросили Матвея Ив[ановича], были ли в обществе некоторые молодые люди, известные своим кутежом, он отвечал: „Они были слишком безнравственны, чтобы быть принятыми".—Так, стало быть, вы были очень нравственны?—сказали ему.—„Я только отвечал на ваш вопрос!"—сказал он.

[16] Лунин в 1805 году был уже офицером. Он был отчаянный бретёр и на каждой дуэли непременно был ранен, так что тело его было похоже на решето; но в сражениях, где он

также был невозмутимо храбр и отчаянно отважен, он не получил ни одной раны. Он служил одно время в кавалергардах и в сражениях, когда его полк был в бездействии, вмешивался в толпу стрелков в своем белом колете.

[17] Когда не с кем было драться, Лунин подходил к какому нибудь незнакомому офицеру и начинал речь: „M-r! Vous avez dit, que...“—M-r—отвечал тот,—je n'ai rien dit—„Comment? Vous soutenez donc, que j'ai menti! Je vous prie de me le prouver en échangeant avec moi une paire de balles“ [1]).

[18] Однажды, кто то напомнил Лунину, что он никогда не дрался с Алексеем Федоровичем Орловым. Он подошел к нему и просил сделать честь променять с ним пару пуль. Ор[лов] принял вызов. Дрались очень часто в манеже, который можно было нанять; первый выстрел был Ор[лова], который сорвал у Л[унина] левый эполет. Л[унин] сначала было хотел также целить не для шутки, но потом сказал: „Ведь Ал[ексей] Фед[орович] такой добрый человек, что жаль его“, и выстрелил на воздух. О[рлов] обиделся и снова стал целить; Л[унин] кричал ему „Vous me manquerez de nouveau, en me visant de cette manière [2]) Правее, немного пониже! Право, дадите промах! Не так! Не так!“—О[рлов] выстрелил, пуля пробила шляпу Л[унина]—„Ведь я говорил вам,—воскликнул Л[унин] смеясь, — что вы промахнетесь! А я все-таки не хочу стрелять в вас!“ и он выстрели на воздух. О[рлов, рассерженный, хотел, чтобы снова заряжали, но их розняли. Позже Мих. Фед. Орлов часто говорил Лунину: „Je vous dois mon frère“ [3]). А когда Лун[ин] написал опровержение на следственное дело 14 декабря, А. Ф. Орл[ов] не сделал ничего, чтобы облегчить его участь, и Лунин умер в Акатуе.

[19] Когда в следственной комиссии Лунина спрашивали, имел ли он намерение убить всю ц[арскую] фамилию, он отве-

---

[1]) „Милостивый государь! Вы сказали...“ — „Милостивый государь, я вам ничего не говорил“.—„Как, вы значит, утверждаете, что я солгал? Я прошу вас мне это доказать путем обмена пулями“.

[2]) „Вы опять не попадете в меня, если будете так целиться“.

[3]) „Я вам обязян жизнью брата“.

чал: „Может статься! Может статься!“ Это привело членов в ужас. „Чего же вы ужасаетесь? Ведь ц[арская] фамилия вся жива; а я говорю, может статься, потому что намерение это могло возникнуть у меня в голове в иные часы и отрицать прямо я не могу его“.

[20] Написав свой разбор следственного дела 14 декабря, Лунин, который жил в это время близ Иркутска в собственном доме с Никитой Муравьевым, отдал это сочинение N., который однажды, собираясь вместе с Воскресенским, советником Гл[авного] Управления В[осточной] Сибири, на бал, забыл тетрадь на столе. Воскресенский заехал к N и, увидев на столе разбор, спросил: нельзя прочесть его? N не подозревая никакого умысла, дал, а тот отослал в III Отделение[1]). Л[унин] был без всякого суда схвачен и отвезен в Акатуй. Дорогою, встретив Сергея Григорьевича Волконского, Л[унин] сказал ему: „En venant en Sibérie, j'ai été escorté par l'Archange Michel, maintenant j'ai pour escorte l'Archange Gabriel. A ce qu'il parait, ce chemin me mêne au paradis“ [2]).

В Акатуе он жил до 44 года, в котором умер. Он не работал, охотился, гулял, писал к сестре письма. В то время, когда его увозили, у Никиты Муравьева готово было сочинение о канализации (sic) России, которое он, вместе с другими своими и луниновыми сочинениями, сжег в первую минуту тревоги, произведенной ссылкою товарища.

[21] Одно из сочинений Никиты Мур[авьева], могшее сделать ему много зла, было захвачено III Отделением: одно из

---

[1]) Обстоятельства, при которых записка Лунина попала в III отделение— остаются до сих пор невыясненными. В своих показаниях Лунин утверждает, что один И. И. Иванов (О-во Соед. Славян) случайно ознакомился с ней в бытность в Урике; уезжая из Урика, Иванов, не предупредив Лунина увез черновик записки с собою; а по смерти его, бумаги Лунина утратились. Это показание Лунина, конечно, неполно. Учитель Иркутской гимназии Журавлев заявил, что получил список записки от Громницкого и Лунина (см. Штрай). Декабристы М. С. Лунин, Петербург, 1893 г.).

[2]) „В Сибирь я ехал в сопровождении архангела Михаила, теперь меня сопровождает архангел Гавриил; повидимому, эта дорога ведет меня в рай“.

лиц его известило ее [1]), что за 100 тысяч рублей она может получить это сочинение. Старушка с Мих. Илар. Бибиковым послала эти деньги, получила манускрипт и сожгла его.

[22] Матвей Иванович делал поход 13 и 14 г. юнкером Семеновского п[олка] 18-ти лет вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным. Старые солдаты часто брали их ружья и ранцы для того, чтобы облегчить им дневной переход. Матвей Ив[анович] ранен в ляжку около паха, и рана при перемене погоды сказывается.

[23] Когда декабристы уже сидели в крепости Фарславе [2]) в Финляндии, за 7 верст от Рочерсальма, туда два раза приезжал фельдъегерь, с приказанием, чтобы у них забрали досками окна. Сырость была так велика, что в комнате была постоянная капель, подобная по стуку на тиканье часов [3]). Читали они Монтеня, но печать была мелкая, а свету в каземате мало и глаза страдали у многих. Офицер, который присматривал за ними, говорил им „ты", по приказанию властей; но когда его сменили, то он, придя к ним проститься, стал говорить им „вы", а уже они говорили ему „ты", советовали не пьянствовать, лучше вести себя, служить усерднее. Матвей Ив[анович] подарил ему пару шаровар; когда он пришел проститься с Якушкиным, то сказал со слезами на глазах: „Вот какой добрый Матвей Ив[анович]: он благословил меня парою новых панталон!" [4]).

[24] В Петропавловской крепости Матвей Ив[анович] сидел и в Алексеевском равелине, но их часто перемещали: все следствие и суд их кончились в мае 1826 г., след[овательно], длились всего около 4 с небольшим месяцев. Священник [5]), приставленный к ним для увещаний, начал с того, что хотел их шпионировать, но после был совершенно очарован ими, и в день

---

[1]) Т. е. мать Никиты Михайловича—Екатерину Федоровну.

[2]) Форт „Слава".

[3]) Постель нельзя было оставлять, и ее по утру клали в чемодан. Арестанты не раздевались. (Прим. Толя).

[4]) Записки И. Д. Якушкина, стр. 106,—несколько иначе.

[5]) П. Н. Мысловский.

казни не побоялся отслужить по ним панихиду. Он передавал записки одного другому, а для того, чтобы не видали во вне, что они писали, он становился перед пишущим и заслонял его рясою. Александр Одоевский, однажды спрошенный о каком-то деле, сказал, что такой-то из его товарищей признался комиссии в том-то. „Откуда вы это знаете?“—„Мне передал это священник N“.

Священник получил за свою снисходительность и любезность жестокий выговор.

[25] Матвей Иванович первые два года пребывания в Сибири провел в Вилюйске, потом 9 лет в Бухтарминске, наконец 18 лет в Ялуторовске. В Вилюйске он жил в бревенчатой юрте; ему понадобилось сделать к ней 7 окон. Столяр, принесший их, был ссыльный с вырванными ноздрями. Матвей Ив[анович] хотел заплатить ему по рублю за раму, следов[ательно] 7 рубл[ей], но он сказал обиженным тоном, что более 5 рублей не возьмет, ибо столько стоит его работа. Это был первый знакомец М[атвея И[вановича]. Сблизившись с ним, он узнал, что он первоначально был сослан за то, что, с пьяных глаз ударив жену за упреки ее, убил ее наповал. Позже, испытав и видя дурные поступки чиновников Нерчинских заводов, он произвел в них бунт и ушел: набрав шайку, разбойничал по Лене и был снова схвачен. В заводе, в котором он находился, начальник взял его в услуги и так привязал к себе добрым обращением, что он сделался другом дома, по смерти начальника воспитывал его детей малолетних и, вышед на поселение, продолжал мирную трудовую жизнь.

[26] В Бухтарминске М[атвей] И[ванович] застал одного из прежних семеновских солдат, по раскассировании полка сосланного в тамошний гарнизон. Старик пять лет служил Матвею Ив[ановичу] и Марье Константиновне, никогда иначе не говорил с первым, как с начальником, ухаживал за ними в болезни и никогда не хотел взять денег. Когда ему вышел бессрочный отпуск и он должен был уходить, то М[атвей] И[ванович] хотел дать ему 50 руб.; он взял из них только 5, говоря, что он и теперь богаче богача.

[27] Семенов был сын бедного сельского священника, учился сначала в семинарии, потом в академии, где был профессором, но, не удовольствовавшись ни кругом знаний духовенства, ни схоластикою академии, вышел из духовного звания. Княгиня Трубецкая (?), мачеха Сергея Петровича, очень умная женщина, нуждалась в гувернере для своего сына: узнав о Семенове, взяла его к себе и вскоре стала во всем слушаться его и уважать как нравственный авторитет. Позже князь Голицын, министр народного просвещения и иностранных исповеданий, взял его в домашние секретари: все думали, что он разбогатеет, но ошиблись. Он никогда не пил чаю, не курил трубки, не ездил в экипажах. Когда он был принят в члены общества, другие члены иногда заходили к нему и предлагали довезти его, но он никогда не соглашался. „Я теперь поеду с тобою или с другим, а потом привыкну ездить. Средств у меня нет, придется красть для этого". Он не женился, хотя имел слабость к молодым женщинам: „содержать жену прилично не могу, а заставить ее переносить со мной лишения не хочу". Он в течение всего следствия отвечал только отрицательно на все вопросы и потому был осужден на службу в Сибирь без лишения прав.

[28] Когда Сергей Ив. Муравьев шел к виселице, кто-то (Рылеев?) сказал ему: „Vous avez l'air d'aller à la célébration de votre noce!"—Aussi est ce que ce n'est une noce!—сказал он с улыбкой: la plus belle de toutes [1]).

Семеновец, прислуживавший М[атвею] И[вановичу] в Бухтарминске, говоря о Серг[ее] Ив[ановиче] всегда снимал шапку и крестился, причем произносил: „Святый праведник, воззри на нас".

[29] Один английский лорд на обеде у русского вельможи, будучи спрошен: „Est ce que le père de Milord vit encore? отвечал: Non, M-r., mon père ne vit pas encore!" — вместо: ne vit plus.

---

[1]) „У вас такой вид, точно вы идете на собственную свадьбу!"—Да разве это не свадьба!—самая прекрасная из всех!

[30] Однажды Матвей Ив[анович] ехал с Репниным, при коем был адъютантом, по Полтавской дороге, на которой приказано было сперва вырыть три канавы для стока воды, а потом, когда догадались, что в них может скрыться убийца, приказано засыпать одну из них. Несчастные жители деревень, вышедшие на эту работу с женами и детьми, узнав в Репнине генерал-губернатора, чуть не бросали ему в коляску своих детей, говоря, что им нечего есть, что их пригнали издалека и не кормят. Это зрелище до того взволновало М[атвея] И[вановича], что он начал серьезно выговаривать своему начальнику за это зверство. Репнин отвечал, что должен исполнять приказания государя. „Но разве вы не могли бы представить весь ужас этого распоряжения? А в крайнем случае вы могли бы отказаться от своего места“. Приехав на место, Репнин за обедом сказал с улыбкою: „Меня всю дорогу бранил мой адъютант...“

[31] Однажды в. к. Михаил Павлович, еще будучи очень молодым человеком, заметил, что делавший ему во дворце честь заслуженный офицер, увешанный орденами, неправильно сделал какой-то прием. Он погрозил ему пальцем. Глинка, генерал, находившийся при нем, схватил его за поднятую руку и сказал строгим тоном: „Посмотрите! Он увешан орденами, кои заслужил на службе отечеству, а вы имеете только звезду, кою получили без всякой заслуги“. Этого Михаил П[авлович] никогда не простил Глинке.

[32] Однажды на разводе один солдат, заряжая ружье, забыл вынуть шомпол, который упал недалеко от Михаила П[авловича]. Солдат был забит палками.

[33] Будучи поручиком, Матвей Ив[анович] однажды, идучи в караул, отстал от своего взвода. Видя, что подходит взвод, он отослал занявшего его место унтер-офицера и стал вместо него. Командовавший полком Потемкин заметил это и сказал М[атвею] Ив[ановичу]: „Вы не знаете службы!“ Матвей Ив[анович] отвечал: „Надо быть бог знает кем, чтобы позволять себе говорить дерзости человеку, который не может отвечать“. Несмотря на то, что М[атвей] Ив[анович] был кругом виноват, полк принудил Потемкина просить у него прощения.

[34] Княгиня Долгорукова была очень дружна с женою Николая Николаевича Муравьева-Карского. Он ежедневно заставлял жену два часа читать вслух Цезаря: княгиня, гостя у них, иногда сменяла свою подругу. Цезарь наводил на нее скуку: она зевала, а Н[иколай] Н[иколаевич] удивлялся этому требовал, чтобы она продолжала и говорил, что Цезарь потому не нравится ей, что она молода, но что со временем будет нравиться. В зале его ежедневно дежурило 4 офицера различных чинов, и он держал их постоянно в форме на средине комнаты. Все проходили мимо них. Когда княгиня спросила его, для чего он так мучит людей, он воскликнул: „Дисциплина требует! Послушаться бы вас, так хорошо бы стало войско!"

Жена Н[иколая] Н[иколаевича], приезжая в деревню княгини, говорила, что только здесь она и может дышать свободно: „У нас, крестьяне еще за несколько шагов от дому снимают шапку. Н[иколай] Н[иколаевич] даже научил их ходить в ногу и маршировать". Многое,—прибавила княгиня,—он делал в пику своему брату Андрею, с которым был в самых странных отношениях.

Едучи с Кавказа, он известил княгиню о своем проезде и о том, что не может остановиться в Твери, ибо хочет представляться ко двору в самый день годовщины взятия Карса [1]). Княгиня встретила его на дебаркадере. Он был еще наместником, огромная свита окружала его. Был постный день: он потребовал есть. Ему сказали, что есть рыбный стол, но он сказал, что не ест рыбы. После долгих поисков принесли вареный картофель, с коим он потребовал простого русского масла.

Во второй приезд он виделся с Матвеем Ив[ановичем], с коим был очень дружен в молодости. „Какой же ты старик стал", повторял он несколько раз, вероятно, не находя что говорить, ибо он и всегда был не находчив и легко терялся.

---

[1]) Карс был взят 6 ноября 1855 г. Стало быть, Н. Н. Муравьев проезжал Тверь в начале ноября 1856 г., а так как говорится о его вторичном посещении Матвея Ивановича, то надо считать, что запись эта сделана не ранее начала 1857 г.—Матвей Иванович жил в Твери с конца 1856 года до средины 1860 г., когда он перебрался в Москву, в которой и жил до самой смерти (1886 г.).

На другой день он был очень любезен и сказал, что время их прекрасных общих мечтаний всегда дорого его сердцу. „Поздравляю тебя не за себя, а за тебя самого“, сказал М[атвей] Ив[анович].

[35] Княгиня Долгорукова видала Гоголя довольно часто: в первый раз увидела его, когда он читал Пушкину рукописного „Ревизора“.—„Я всегда чувствовала себя при нем неловко, unheimlich. У него много было претензий, страшная угловатость манер, притом он никогда не был похож на самого себя, каким явился в прежние встречи. В самом его смирении была бездна гордости“.

[36] Безобразов, дивизионный генерал, рассказывал о Лермонтове, что г-жа X. очень желала, чтобы говорили, что он влюблен в нее. Однажды он сидел у нее: она вышивала в пяльцах у открытого на бульвар окна. Гуляющих на бульваре было много. Вдруг послышались в соседней комнате шаги мужа г-жи X. Лермонтов схватил фуражку и выскочил из окна. „Qu'est cе que vous faites“?—воскликнула удивленная X.—„Je me sauve de M-r votre mari“ [1]),—отвечал Лермонтов.

[37] Пушкин, умирая, просил княгиню Д[олгорукову] съездить к Дантесу и сказать ему, что он простил ему. „Moi aussi je lui pardonne“! [2]), отвечал с нахальным смехом негодяй.

[38] Голицын с Шереметьевым дрались в манеже. Виноват кругом был Шереметьев. Голицын вскоре умер от полученной раны. За то, что Якубович, бывший секундантом Голицына, не только не препятствовал дуэли, но и настаивал, чтобы она совершилась, он был сослан на Кавказ.

[39] Князь С. Г. Волконский привез Александру I известие о Тарутинском деле. Он застал императора в постели. „Знаю я,—отвечал ему на поздравление с победою Александр,—знаю ваши победы. Вы, верно, опять отступили“. Но, выслушав дело, успокоился.

---

[1]) „Что вы делаете?—Я спасаюсь от вашего мужа“.

[2]) „Я тоже ему прощаю.“

[40] Рассказ Сергея Григорьевича [1]): На одном параде, осмотрев бригаду князя Волк[онского], Александр нашел ее в хорошем положении и, отведя его в сторону, сказал: „Все хорошо. Только прошу вас не мешаться в мое управление государством". Князь, принадлежавший к южному обществу, счел это за признак немилости и подал в отставку. Александр отвечал, что князь не понял его слов, что он хотел ими показать свое доброжелательство и, приказав еще раз представить себе бригаду, безусловно расхвалил ее и обласкал Волконского.

[41] Муж княгини Д[олгоруковой] [2]) служил в лейб-гусарах. Однажды в Царском был развод, на коем Николай до того разругал самыми площадными выражениями старого генерал-адъютанта, коего имя забыла княгиня, что старик, рыдая, ушел за фрунт, куда Николай послал его. Княгиня предложила старику свою коляску.

[42] Литке так испортил характер Константина Николаевича, что имп[ерато]р для Михаила и Николая Николаевичей велел прислать к нему того из дежурных корпусных офицеров, которого кадеты наиболее любят: ему представили Корфа, человека очень доброго и честного, который умел оправдать свою репутацию.

[43] В Тверь приезжал Полторацкий, генерал, дядя Алексея Павловича [3]), 80-летний старик, который, однако, еще танцовал на свадьбе своей внучки. Он был в карауле, когда душили Павла, а начальником его был капитан из бурбонов, который пьянствовал и валялся по улицам в гвардейском мундире. Когда солдаты стали роптать, что царя убивают, а они стоят, Полторацкий притворился спящим, а когда его разбудили, сказал, что в инструкции его ничего об этом не сказано. Капитан же повел взвод к кабинету имп[ерато]ра. На лестнице попался ему Зубов и спросил, куда он идет. „Выручать госу-

---

[1]) Волконского.

[2]) Кн. Ростислав Алексеевич Долгоруков служил в царскосельском лейб-гусарском полку.

[3]) А. П Полторацкий, много лет служил в Твери председателем казенной палаты.

даря", отвечал он. Зубов дал ему пощечину и скомандовал: „На лево кругом". Капитан, не возражая, повел солдат обратно.

[44] Комендантом замка был майор X., очень преданный царю и не хотевший допустить покушения. Встретивши его, Александр сказал: „Разве ты не понимаешь, что это необходимо для блага России".

[45] Павел не мог терпеть, чтобы обедали при свечах, и если при проезде по улицам замечал в окна, что обедают при свечах, то останавливался и посылал кого-нибудь из свиты. Посланный входил, сдергивал скатерть со всем, что на ней было и уходил. Только тогда царь продолжал свою прогулку. Вельможи нарочно для потехи обедали при свечах и между прочими Ив[ан] Матвеевич Муравьев. Он был большой лингвист, знал до семи языков и утверждал, что нет языка, которому в 6 месяцев нельзя было выучиться вполне. Будучи в Гамбурге, он однажды был вытребован Павлом в Петербуг для объяснения по переписке с Сухтеленом. Он в сутки собрался и ускакал. Когда он объяснил царю, в чем дело, тот обнял его, послал Сухтелену звезду и велел Муравьеву ехать обратно.

[46] Между генералами, присланными к Ив[ану] Матв[еевичу] из России, один просил, чтобы он представил его Гамбургскому королю; потом прислал к нему своего слугу, чтобы высечь его на съезжей. Когда он узнал, что в Гамбурге нет ни короля, ни съезжей и нельзя бить людей, то нашел это крайне странным и назвал город дрянным.

[47] Рассказ княгини Д[олгоруковой]: „Андрей Николаевич Муравьев ухаживал за барышней и все ожидали скорого предложения, как вдруг у нее сделался рак на груди. Знакомый пришел к Андр[ею] Н[иколаевичу], когда он обедал при дворе на дежурстве. Когда он начал рассказывать, Андрей Н[иколаевич] прервал его словами: „После, после. Вы отобьете у меня аппетит и притом, с каким лицом встречу я государя после вашего рассказа".

[48] Андрей Н[иколаевич] часто обедал в Царском Селе у N и если это был постный день, то сперва присылал сказать, что приготовить для него. Так как N был холостой человек, то просил царскосельских дам то одну, то другую выручить его из затруднения. Княгине Д[олгоруковой] также несколько раз приходилось хлопотать об этих обедах. Узнав о том, Андрей Никол[аевич] просил ее мужа познакомить его, но только без визитов; князь сказал жене, что А[ндрей] Н[иколаевич] будет у них вечером. За час перед тем княгиня получила какой-то сверток—развертывает: это портрет Андрея Никол[аевича], который, вероятно, хотел сперва приучить ее к своей наружности для того, чтобы не сразу поразить. Княгиня отослала ему портрет, и он не приехал. Позже он в обществе выразился о ней: „C'est une impertinente!“ [1])

[49] Проездом через Тверь Андрей Ник[олаевич] не захотел быть у Матвея Ив[ановича], говоря, что не имеет с ним ничего общего, чему Матв. Ив. очень рад.

[50] Когда декабристов еще содержали в Петропавловской крепости, на них отпускалось по 50 коп. в день, но кушанье было так дурно, что нельзя было есть. Солдаты, принося чайную посуду, вынимали из одного кармана чай, а из другого кусочками расколотый сахар. Но ежедневно приезжал генерал-адъютант спрашивать довольны ли содержимые кушаньем. Однажды Мартынов вошел в каземат фон-дер-Бригена, с коим прежде служил полковником в одном полку. На вопрос его—доволен ли он кушаньем, Бриген отвечал, что эта такая мерзость, что нельзя есть.—„Вы и того не стоите“—возразил Мартынов —„Для чего же вы спрашиваете,—сказал Бриген, смеясь.—Разве только для того, чтобы оскорблять меня?“—Матвей Иванович никогда не жаловался на дурную еду и, когда однажды спросили его о ней, отвечал: „Теперь время думать не о еде“.

[51] В Фарславе в Финляндии комендант очень обрадовался, когда арестанты стали пить чай с ромом.

[1]) „Дерзкая женщина“.

[52] Когда Матвей Ивановича увозили в Сибирь, [1]) у него оставалось 150 р., кои он оставил товарищам, надеясь дорогою встретить кого-нибудь из родственников. Когда его привезли в Роченсальм [2]) к коменданту, то этот добрый человек велел ему следовать за собой и привел его в последнюю комнату, где жена его сидела за кофеем. Здесь он шепотом сказал ему: „Напейтесь кофе на дорогу".—Он боялся, чтобы фельдъегерь не услыхал.

[53] Дядя Варвары Александровны Бакуниной, Николай Федорович Муравьев, благодетельствовал Аракчеева, когда он был еще унтер-офицером. Аракчеев приходил к ним на кухню, и нянька, которая позже нянчила и Варвару Алекс[андровну], подчивала его чаем. Позже эта женщина никак не хотела верить, что он был пожалован в графы. Брат Варвары Алекс[андровны], Николай, возвратясь из Англии, где провел всю молодость, получил поручение сперва отвезти драгоценности царской фамилии в 12-м году, а потом свезти в Грузино фрегат. Принимая от него фрегат, Аракчеев расспросил его о степени родства его с Николаем Федоровичем, причем сказал, что он был облагодетельствован покойником, и просил молодого моряка обождать его. Но молодой человек, сдав корабль, тотчас уехал, не дождавшись милостей временщика.

[54] Княгиня Долг[орукова], будучи 14 лет, часто ездила с родителями в Грузино, где Аракчеев жил в некоего рода изгнании. Для них, обыкновенно, был особый домик, в коем все сохранялось в порядке, однажды установленном и расписанном на особой карточке. Если переставляли что-нибудь, то сторож умолял, чтобы поставили на прежнее место, ибо его подвергнут за беспорядок наказанию: на бумажке было обозначено, на сколько вершков от стены стоял каждый стул и т. д. Прислуга в Грузине страшно голодала, ибо А[ракчеев] сам лично отрезал для нее кусочки хлеба и пр. Родители княгини всегда принуждены были запасаться пищею в Чудове, и от их

---

[1]) Осенью 1827 года.

[2]) Из форта „Слава".

людей пользовалась и прислуга Аракчеева. Между тем, он был крайне нервозен: все вещи, до которых прикасался Александр, были расставлены у него в комнате, и на каждой было обозначено число, в которое вещь была в руках государя. У А[ракчеева] были часы, которые изображали воина плачущего над гробом: воин был сам Аракчеев. Часы в обыкновенное время не тикали: только в 9 часов утра, час смерти Александра гроб растворялся, внутри его был бюст царя, часы играли три раза: „со святыми упокой", и гроб затворялся [1]).

В ограде церкви была вырыта могила, которую, при посещении А[ракчеевым] богослужения, каждый раз открывали. Был также памятник его любовницы, которую в церкви Грузинской поминали, как св. мученицу. Митрополит [2]) Фотий причислил ее к лику святых. Однажды, когда княгиня и ее родители пили у него чай, и он был в хорошем расположение духа, он рассказал историю смерти этой женщины, как он, приехав домой, спросил—где она, и ему сказали, что она ожидает его в зале. Он вошел и увидел, что она лежит на столе, и огромный кухонный нож еще торчал в ее груди. Оказалось, что стол был тот самый, у которого они пили чай. Потом А[ракчеев] распространился о наказаниях, которым он подверг участников убийства. Рассказ длился до часа ночи и картины, развернутые им, были столь ужасны, что княгиня не спала всю ночь. Кучер, также участвовавший в этом деле, после страшного истязания был сослан в Сибирь и находился в услужении у Мясникова в Ялуторовске, где Матвей Ив[анович] знал его.

[55] Когда раскрыты были делатели фальшивых ассигнаций, то в Полтаве весь острог был наполнен ими. При смотре войск Александр вошел и туда, где содержались эти несчастные, большей частью евреи. Они, загремев цепями, пали на колени, моля, чтобы скорее кончили их дело, тянувшееся уже два года. Александр с улыбкой обратился к Репнину и сказал ему: „у тебя здесь целый кагал".

---

[1]) Описание этих часов не совпадает с фотографией этих часов, которая находится в 4-м томе „Александр I"—Шильдера.

[2]) Фотий был не митрополитом, а архимандридом.

[56] Едучи в Таганрог, Ал[ександр] бранил Репнина за дурную дорогу. „Ваше величество,—отвечал тот,—я сделал, что мог. Неурожаи и голод заставили меня и без того выслать всех лишних жителей в другие уезды. Народу мало и тот терпит страшную нужду“.—Что же, воскликнул Ал[ександр]: ведь они сосут что-нибудь дома. Пусть же сосут это на большой дороге [1]).

[57] Шумский, коего некои почитали сыном Аракчеева, был сделан флигель-адъютантом. Чернышев получил поручение ввести его в высший круг общества. Илларион Михайлович Бибиков, бывший штаб-офицером при начальнике штаба, получил приказание назначить Ш[умского] дежурным при дворе, но отозвался, что нельзя нарушать очереди. Это так понравилось Аракчееву, что он пригласил Бибикова обедать. Все стали поздравлять его с неожиданной милостью.

[58] Екатерина Ивановна Бибикова, сестра Матвея Ив[ановича], в вечер перед экзекуцией декабристов, поехала в Царское С[ело] и искала случая видеть государя, что ей, как статс-даме, было не трудно. Она только 6 недель, как разрешилась от бремени Александром Илларионовичем. Ей сказали, что царь в саду; она пала ему в ноги и молила о дозволении увидеть братьев. Сначала царь отступил и довольно грубо отказал, но потом дал ей бумагу для пропуска. Она застала Сергея Ивановича в самом спокойном расположении духа. Увидя на нем кандалы, она зарыдала.—„Что тут плакать? Это просто одна формальность!“—сказал он. Потом обнял сестру и прибавил: „Не забывай меня!“ Эти слова были намеком, которого стараться разъяснить себе она не смела. За час перед смертью Сергей Ив[анович] написал письмо к брату, переданное ему только через 2 недели священником. В нем он также не говорит ни слова о своей близкой кончине, но в заключение письма прощается с ним до сладостного свидания. Те из декабристов, кои были осуждены в Сибирь, были ранним утром подведены под виселицы; через час, после того, были приве-

---

[1]) Записки И. Д. Якушкина, стр. 29.

дены пятеро остальных. Сергей Иванович был спокоен, как праведник. Веревка не сдержала его: он оборвался и сломал себе ребро: это подало ему повод сказать, что в России даже повесить не могут сразу! Веревки порядочной нет [1]).

[59] Загрядский [2]), оставя жену с дочерью в Петербурге, уехал в Париж, где снова женился на француженке по католическому и православному обряду. Когда надо было ехать домой, он взял новую жену с дочерью, которую имел и от нее, и привез их в дом свой к прежней жене. Обе жены его подружились и прогнали общего мужа; вторая, умирая, оставила свою дочь первой, которая уделила ей из своего состояния столько-же, сколько и родной. Дочь второй жены была замужем за Гончаровым и ее дочь была за Пушкиным, а дочь от первой жены, осталась девою и фрейлиною [3]): она была причиною, что Пушкину дали камер-юнкерство с тем, чтобы доставить своей племяннице въезд ко двору. Пушкин не только не добивался этого и не обрадовался милости, но почел ее оскорблением, рвал на себе волосы и был вне себя. Вообще эта дева и две свояченицы, которых Пушкин взял к себе тотчас после свадьбы, составили все его несчастье, так что последнее время своей жизни он уже был сам не свой. Жена его очень много выезжала и была довольно легкомысленна, но не порочна. Выезды превышали средства П[ушкина], врагов у него было множество. Дантес ухаживал за г-жею П[ушкиной] и враги старались разгласить его успех. Пушкин вызвал его. Секундантом первого был Данзас. Уже на барьере секунданты спрашивали о причине дуэли. Дантес отвечал, что не понимает ее, ибо у м-м П[ушкиной] две незамужние сестры, из коих старшую [4]) он любит, а вовсе не жену П[ушкина]. Тогда П[ушкин] потребовал, чтобы он написал письмо, коим просит руки ее; он это исполнил. П[ушкин] отвез письмо к ней и уговаривал ее отказать, прося и княгиню Д[олгорукову] сделать тоже. Но дева забрала себе в голову блестящую роль, которую будет играть в доме холостого дяди Дантеса, Датского

---

[1]) Конец этого рассказа не точен.

[2]) Загряжский.

[3]) Екатерина Ивановна Загряжская.

[4]) Екатерина Николаевна Гончарова.

посланника, и свадьба состоялась. П[ушкин] не поехал на нее сам и упросил всех своих близких знакомых, между коими была и княгиня Д[олгорукова], не ехать. Молодые жили кое-как: Дантес продолжал волочиться и за женою П[ушкина], и за незамужнею свояченицей, самою умною из сестер и наиболее понимавшею П[ушкина] [1]), который с ней одной любил беседовать. На одном ужине Дантес поднял бокал и, обращаясь к этой последней, сказал: je bois à la santé non de ma légitime, mais de celle que j'aime [2]). Это было передано П[ушкину], кроме того до него прежде доходили анонимные письма и сплетни. На другой день П[ушкин] был в театре в ложе рядом с княгининой. Во время представления он обратился к княгине и сказал ей так, чтобы жена не слышала: „Пригласите завтра мою жену по утру и удержите ее подолее“. Кстати, в это время в Петербурге была матушка княгини Малиновская. Под предлогом видеться с нею, княгиня просила жену П[ушкина] приехать пораньше. Жена П[ушкина] приехала, но около 3-х или 4-х часов стала беспокоится и уехала. Когда она подъезжала к дому (они жили на Мойке), перед нею подъехала карета, в коей везли раненого П[ушкина], к[ото]рый кричал так, что из комнаты слышно было на улицу. Он объявил всем, что почитает свою жену вполне невинною, а сделал это для света. Жене он дал наставление, чтобы она на два года ехала к матери в деревню с незамужнею сестрою и детьми (2-мя сыновьями и 2-мя дочерьми), а по прошествии этого срока непременно вышла замуж. Потом просил сперва князя Вяземского, а потом княгиню Долг[орукову] на том основании, что женщины лучше умеют исполнить такого рода поручения: ехать к Дантесам и сказать им, что он прощает им. Княгиня, подъехав к подъезду, спросила можно ли видеть г-жу Дантес одну; она прибежала из дома и бросилась в карету вся разряженная, с криком: „George est hors de danger!“ [3]) Княгиня сказала ей, что она приехала по поручению П[ушкина], и что он не может жить. Тогда та начала плакать. По смерти П[ушкина] у жены его несколько дней не прекращались конвульсии, так что у нее расшатались все зубы, кои были очень хороши

[1]) Александра Николаевна Гончарова.
[2]) „Я пью за здоровье не своей законной супруги, а той, которую я люблю“.
[3]) „Георгий вне опасности“.

и ровны. Дантес уехал заграницу и жил около Парижа в деревне довольно согласно с женою. Она родила двух дочерей, а в третьих родах умерла. Он в прошедшем году получил место при Людовике Наполеоне. Г-жа П[ушкина] через шесть лет вышла за Ланского, ко[торы]й очень любил детей ее и был любим ими. Семейство получает от казны 10.000 р. сер. до тех пор, пока старшая дочь П[ушкина] не выйдет замуж, что, вероятно, никогда не случится, ибо она дурна и похожа на мать П[ушкина] [1]). Умирая П[ушкин] назначил книги, которые вдова его должна была читать, чтобы образовать себя, она воспользовалась его советом, и княгиня Долг[орукова] нашла ее в 1842 г. очень поумневшею. Она была очень хороша, высока ростом, стройна, черты лица удивительно правильны, глаза одни небольшие и одним она иногда немного косила: quelque chose de vague dans le regard [2]). Сыновья ее похожи лицом и даже ухватками на отца, но глупы; младшая дочь на нее саму, но глаза имеет голубые, очень напоминающие умный взгляд П[ушкина]. Она уже замужем. (Рассказ княгини Долгоруковой) [3]).

[60] Матвей Ив[анович] после долгих увещаний поступил, наконец, в адъютанты к Репнину; в первый же день Репнин сказал ему, чтобы он съездил в дворцовую конюшню и приказал ему оседлать смирную, хорошо выезженную лошадь, потом, спохватившись, пригласил его закусить. Матвей Ив[анович] отказался, говоря, что есть поручения, которых нельзя откладывать. Приказав оседлать лошадь, он поехал домой и написал рапорт об увольнении в отставку. Репнин удивился, но, поняв причину, извинялся и даже очень полюбил своего адъютанта. Сцена у Трощинского развела их; М[атвей] И[ванович] подал в отставку и уехал в деревню.

Сергей Иванович служил в южной армии и стоял с батальоном в Василькове. Бестужев был в Житомире: офицеры старого Семеновского полка не могли получить ни отставки,

[1]) Мария Александровна Пушкина (род. в 1831 году) вышла за Гартунг в 1859 году.

[2]) Какая-то неопределенность во взгляде.

[3]) Надо отметить, что первые строки этого рассказа слово в слово совпадают с тем, что записал Бартенев со слов Долгоруковой („Записи минувшего“: „Рассказы о Пушкине“; стр. 62).

ни отпуска. Надо было известить Бестужева о домашнем деле. Сергей и Матвей, приехавшие в гости к брату, отправились в Житомир. На одной из станций они встретили почту, везшую присяги Николаю. Почтальон сделал знак Матвею Ив[ановичу] чтобы он следовал за ним и, отошедши в заднюю часть дома сказал:—„Ваш батюшка и все ваши домашние здоровы!"—Да, я это знаю! сказал М[уравьев] (отец его жил около Сената)—„Но вы не знаете, что в Петербурге был бунт неудавшийся. Много арестованных. Николай—император."—Сев в коляску, М[уравьев] передал слова почтальона Сергею по-французски [1]). Приехав в батальон они застали уже приказание арестовать их. Сергей сказал: „Делать нечего. Надо показать России, что мы не только говорили, но и хотели делать". Они объявили батальону: солдаты объявили, что готовы умереть за Сергея. К ним пристало еще 3 роты из чужого батальона. Брат Ипполит Муравьев приехал к ним, прося, чтобы ему позволили разделить с ними опасность. Жандармский офицер, присланный арестовать их, бросился на колени, моля не губить его. Они для виду арестовали его. Около Х они встретились с кавалерией и артиллерией, [2]) коя была под командою полковника У-х, [3]) давшего им слово, что если принудят его действовать, он обратит пушку против своих, т.-е. Николаевских. Когда заговорщики подошли, то были встречены картечью. Сергей М[уравьев] был ранен в голову и сказал: „Ребята! Нам изменили! Не будем проливать крови братьев!" И махнул белым платком. В ту же минуту раздался выстрел сзади: это застрелился Ипполит Муравьев. Остальные были арестованы. В одной избе сидели Матвей, держа на руках обезображенную голову Сергея, который был в забытьи, и Кузнецов [4]), который также был слегка ранен. Вдруг последний сказал, что хочет сказать что-то Матвею. „Я не могу оставить брата!" отвечал он. Тогда Кузнецов, лег обратясь к стене, и вдруг раздался выстрел: он застрелился.

[1]) О поездке в Житомир и встрече курьера говорится и в „Белой церкви" Вадковского („Записки декабристов", в. 2 и 3. Лондон, 1863 г., стр. 178).

[2]) Встреча с кавалерией и артиллерией произошла между Ковалевкой и Трилесами („Записки декабристов", в. 1 и 2, стр. 175).

[3]) Артиллерией командовал полковник Пыпачев, член тайного общества (там же, стр. 180).

[4]) Не Кузнецов, а Кузмин.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

и х

СОДЕРЖАНИЕ.

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

Воспоминания и письма под редакцией
С. Бахрушина и М. Цявловского.

КУЗМИНСКАЯ Т. (рожд. Берс). Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Часть I — 2 р.; часть II — 2 р.; ч. III — кончается печатанием.

ГЕНРИХ ШТАДЕН. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Перевод с немецкого и вступительная статья И. Полосина. — 2 р. 40 к.

ГРИГОРОВИЧ Е. Зарницы. Наброски из революционного движения 1905—1907 гг. — 1 р. 40 к.

БАРТЕНЕВ П. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей. — 2 р.

ЖЕМЧУЖНИКОВ Л. Воспоминания 1829—1870 гг. — печатается.

АУЭР Л. Мемуары музыканта — печатается.

БУМКЕ О. Культура и вырождение. Перев. под ред. проф. П. Ганнушкина с предисловиями В. Волгина и П. Ганнушкина.

Книга Бумке правильно намечает те социальные язвы, в которых следует искать первооснову роста числа психических и нервных аномалий. Не будучи социалистической она пропитана в высокой степени социальным и научным оптимизмом.

МАКС ВЕБЕР. Аграрная История Древнего Мира. Перевод под ред. и с пред. проф. Д. Петрушевского. — 2 р. 25 к.

Книга и по широте захвата, и по глубине и оригинальности истолкования явлений древнего хозяйственного развития является единственной в научной литературе. Она дает гораздо больше, чем обещает ее скромное заглавие, изображая и истолковывая аграрную революцию древности в живой связи с социальной и политической эволюцией. Аграрная история древнего мира — блестящий образец истинно научной социологической работы, в смысле эмпирической социологии, ни на минуту не оставляющей реальной почвы широкого и многообразного исторического опыта. Серьезное изучение этой книги не только превосходно ориентирует в хозяйственных, социальных и политических основах древней культуры, но и может научить историческому мышлению в его современной чрезвычайно сложной социологической постановке.

ЛЕВ ОСТРОУМОВ. День жатвы. Роман. — 1 р.

Это произведение молодого русского писателя в ярких красках изображает состояние русской деревни времен Керенского. Подымающийся волна революции расшатывает все основы жизни, быта, хозяйства... В этой обстановке развивается личный роман молодой героини.

ИЗДАТЕЛЬСТВО М. и С. САБАШНИКОВЫХ

Москва, Никитский бульвар 8, кв. 7. Тел. 3-34-40

Цена 2 руб.

[illegible] Ленинградский Гублит № 3362. — 2100 экз.

